

Соколов Саша Эссе, выступления

- Открыв - распахнув - окрылив
- Тревожная куколка
- В доме повешенного
- На сокровенных скрижалях
- Palissandre c'est moi?
- Портрет художника в Америке: в ожидании Нобеля
- Общая тетрадь, или же Групповой портрет СМОГа
- Знак озаренья
- Конспект

ОТКРЫВ - РАСПАХНУВ - ОКРЫЛИВ Слово, сказанное на вечере памяти Карла Проффера в Нью-Йоркской публичной библиотеке

Пути вдохновения, написания и издания неисповедимы. Впечатление, что мы выбираем их сами, не более чем иллюзия. Взять того же меня. Чтобы собраться с мыслями и составить первый роман, я поступил по наитию. В оные лета столичный газетчик, сочинитель чего изволите, я вдруг осознал, что пора бы преобразиться. Я ушел из редакции, уехал на север, в глушь, и поселился в егерском доме. Убит браконьерами, хозяин почти постоянно отсутствовал, и его профессия и предметы его домашнего обихода невольно стали моими. Одноместная койка аскета, стул, стол. На последнем перо, бумага и керосиновый светоч. И если днем бытие освещается оловянным сиянием свыше, то вечером - озари все событие сам: чиркни спичкой, зажги фитиль, и лицо художника в юности на портрете в раме окна станет сразу божественно желтым. И в акриды, и в дикий мед обращается битая дичь, рыба рек и картошки. Не в пример своему жилищу, сей рефлексирующий анахорет не был скромн. Напротив, он был дерзновен. Отчетливо сознавая, что книгу эту в отечестве опубликовать не удастся, не знал ни уныния, ни сомнений. Ибо дело было в России, где литература, включая неприкаемую и нищую духом, есть дело чести и доблести, не говоря о геройстве. Она же - дело святое. Она же краеугольный камень культуры. И если в поры экономических неурядиц там слово заменяет валюту, то в годы вялотекущих репрессий - свинец. Сомнения, впрочем, были потом, когда со случайной оказией я отправил рукопись за границу. Отправил наугад, не зная, в какое издательство она попадет и попадет ли вообще. Ответа не было несколько месяцев, и я думал, что никогда ничего не дождусь: либо рукопись не дошла, либо я настолько бездарен, что даже и отвечать мне не имеет смысла. Оба варианта представлялись фатальными. Иными словами, откуда мне, маловеру, было знать, что Провидение обо всем давно позаботилось, что где-то на Ниагаре тридцать пять лет назад родился человек, который в какой-то момент своей жизни тоже испытывает необходимость преобразования - преобразится, и полностью посвятит себя тому же делу, что я: русской литературе. Человек, который первым прочтет, полюбит, переведет и издаст первую мою книгу. Человеку, которому я буду обязан практически всем, что будет касаться моих реальных литературных обстоятельств. Сегодня естественно оглянуться. Оглянуться и осознать еще раз, что в те дерзновенные дни ранних опытов ты был не столько непризнанным гением, сколько типичным представителем своего непризнанного поколения. Поколения преобразенных, что по егерским избам, по будкам обходчиков, сторожей и лифтерским альковам составляло российскую литературу семидесятых, восьмидесятых годов. И поступая так, без очевидных на то оснований питало большие надежды, которыми только и живо искусство в эпоху отчаяния. Для многих, в том числе для меня, надежды эти сбылись: явился Проффер, открылся "Ардис". Он открылся в Америке, а в России сразу выросли многие крылья, окрепли перья. Он возник в тот момент, когда наступило время именно для такого

издательства. Сработало то же наитие, позаботилась та же судьба. Назовем ее общей. "Ардис" начинался и продолжается как явление уникальное не только в русскоязычной, но и в мировой издательской практике. Ведь оценочный принцип его редколлегии художественность; он же - единственный. Русская литература - где бы ни находились ее составители: в метрополии или в рассеянии - нынче - как и вчера - вся по сути в изгнании. Состояние ее погранично. Но выживет, потому что необходима. Карл Проффер - открыв - распахнув - окрылив, - стал не только пророком ее грядущего выздоровления; он помог ей в ее настоящем. Помог конкретно и зримо. Оба списка далеко не полны. Уйдя, Карл остался в изданных и переведенных им книгах, в судьбах многих писателей и читателей здесь и в стране моего языка, в судьбах русской словесности и славистики. Когда-нибудь, когда большая Россия очнется от своего летаргического забытья и заговорит человеческим голосом, она воздаст ему честь и окажет признание. Просвещенная Америка делает это уже сегодня.

ТРЕВОЖНАЯ КУКОЛКА

Опубликовано в: Континент, 1986, №48.

...Все по плану

Шло, не так ли, Господи? Под холодным небом

Бредил всеми землями, путая быль и небыль.

.....
Нам бы знать - за что нас так, Боже?

Ирина Ратушинская

Какая промашка: вместо того, чтоб родиться и вырасти в несравненном Буэнос-Айресе, где вместо Кома эста усте? - все спрашивают друг у друга: Кома эстан лос айрес? - и отвечают: Грасиас, грасиас, муй буэнос, и где веломальчик газеты Ой демонстративно читает ее без всякого словаря и вдобавок едет без рук, а кондуктор - обыкновенный трамвайный кондуктор - по памяти декламирует пассажирам пассажи Октавио Паза, - то есть вместо того, чтоб явиться там, среди этих начитанных и утонченных и стать гражданином по имени Хорхе Борхес, - а впрочем, нет, погодите - в Упсале - в неопикуемой Упсале - в краю готической хмурой мудрости - и слывя профессором Ларсом Бакстрёмом, - быть им: во имя прелестной Авроры из славной семьи Бореалис самозабвенно творить ворожбу, именуемую свенкс поэси, - или вот: не взыскупя ни Рима, ниже Афин, - в несказанном Иерусалиме: о лучезарное детство на улице Долороса, среди вериг и преданий, - о боги, да что там в Иерусалиме, оставим его в покое до будущих календарей, ведь можно явиться и под - в неказистом, пропахшем фалафелями Вифлееме, а нет - в преисполненной былого величья и мулов Афуле, а нет - в развеселом Содоме, - и жизнь напролет как ни в чем не бывало болтая с приятелями экклезиастовым языком, сделаться мастером гильдии Амоса Оза; словом, вместо чего бы то ни было из перечисленного или чего-нибудь в том же возвышенном и нездешнем духе являешься и живешь черт-те где - лепечешь, бормочешь, плетешь чепуху, борзопишешь и даже влюбляешься, даже бредишь на самом обыкновенном русском и вдруг, не успев оглянуться, оказываешься неизвестно кем, кем угодно, вернее, не кем иным, как собой. Вопиюще. Осознав происшедшее, ощущаешь себя как бы жертвой случайной связи - связи эгоистических обстоятельств, времен. Ты словно облеплен весь паутиной, запутался в неких липких сплетениях, в некой пряже. Проклятые Парки. Смотрите, как я спеленут, окуклен. Немедленно распустите. Мне оскорбительно. Где же ваше хваленое благородство. И муха ли я? Вы слышите? Видимо, нет. Во всяком случае - ноль вниманья. Неслыханно. В общем, типичное удовольствие ниже среднего. Так вы шутили когда-то в юности. То есть не вы, а они, иные. А тебе, осознавшему происшедшее во всей его неприглядности, было не до веселья. Наоборот, обретаясь в силках присущего априори наречия, ты впал в хроническое угрюмство. И если порой улыбался, то лишь из вежливости; да и то сардонически. Впрочем, жизнь отставала. Ища побороть депрессию, ты по афишке с постскриптумом: "Слабонервных просят не беспокоиться", - трудоустроился в морг. Начав с помощника

санитара, выбился в препараты. В обязанности твои входило бритье клиентов и ассистирование на вскрытиях. Объявить, что вскрытие неэстетично, - значит слукавить, жеманно спрятаться под вуалью литоты. На взгляд абстрактного гуманиста, оно от разнузданного глумления над покойным отлично только ведением протокола. И тем не менее этой, по выражению циников, операции по поводу смерти подвергаются все, скончавшиеся в больнице. Порядок свят: исключения по протекции. Бесправие несчастных напоминало о собственном. Вы были невольники двух несогласных стихий. Ты - невольник присущего языка, клиентура летального безъязычия. Жить и пошло, и вредно, жаловался ты прекрасным дамам по соловьиным садам. Однако и смерть - не выход. Ибо и смерть не обеспечивает нам свободы воли. И поверял им строки, сочившиеся профессиональной печалью. И в зале - по скользкой эмали - кружился полночный скелет - из бледно-оранжевой дали - струился задумчивый свет. Терзания надломленного таланта отзывались в дамах сплошной экзальтацией. Тронут сочувствием, ты шептал им положенное и обретал желаемое. О, сколько бальзама давали в те юные ночи за звонкий сезам. А как ярились сирени по берегам зари. А как розовели в лучах ее уши неумолимых, как Мойра, котов, стерегущих возле аквариумов своих - рыб ювелирных. И все-таки ты полагал себя обделенным. Хотелось таких берегов, где в обиходе иные сезамы. Их либе дих, сагало, те амор, твердили тебе героини грез. Но грезы порой оборачивались кошмарами. Так, например. Позвольте, но где же выбор? - говоришь ты кому-то в маске и в чем-то вроде инквизиторской мантии. Говоришь горячечно, нутряно, точно как Достоевский на исповеди у Фрейда. Выбора несть, отвечает он холодно и высоколобо. Но ведь без выбора нет свободы, а без свободы счастья, не так ли? Возможно, только откуда ты взял, что имеешь на счастье право? Право? мне говорили, что никакого права не нужно, что ежели мотылек рождается для полета, то личность - для счастья. Ты не личность, роняет он, ты - личинка. Да как вы смеете - что за бестактность - эт цетера. Между тем его маска спадает. Волевое лицо узурпатора. Скорбные седые глаза василиска. Неулыбчивый рот палача. Трепещущий и раздвоенный, словно у игуаны, язык. Даже расстроенный. Расчетверенный. Не счесть. Помилуйте, кто вы? Я Неизреченное Слово. Я Слово, бывшее в начале начал. Я - немецкое да и зеркально затранскрибированное английское я. Я - ай. Я - я. Я - Он, Который утверждает: Я Есмь. Я Есмь, подтверждают поборники всесопряженья. Я - враг твой. Я - бич. Я - неволя, недоля и дольняя незабудка. Я - любит-не-любит. Я - стерпится-слюбится, слюбится-воспарится. И воспарив над юдолью, начнешь препарировать бытие, вычленять из него парную, кровотокающую суть. Не корми ею птиц небесных: те сыты печенью Огнекрада. Но капля по капле, кусок за куском претворяй ее в прозу живую. Терпи и трудись. Я же дам тебе и стило, и крылья. Ибо Я - язык твой. В силу закона о сообщающихся сосудах, субстанциях и состояниях от такого-то и такого-то сон и явь незаметно перетекали друг в друга, смешиваясь, будто в доме Облонских, когда к тем запросто, без звонка и без запонок, эдаким фармазоном, заезжал покуражиться замечательный русский мечтатель Обломов. Пил, топал, свистел, бранился и требовал, чтобы долой барокко, а да здравствует-де рококо. Пример, достойный всемерного подражанья. Однако к Облонским ты не был вхож, и пойти по стопам кумира было, собственно, не к кому. И вот, похерив амбициозные планы, ты поступал по сказанному языком твоим - терпел и трудился. Дело происходило в пределах от а до я и от там до сям. Лицедействуя на подмостках большого света, ты не затмил гигантов этого балагана единственно потому, что подвизался на скромных ролях. Зато ты сделался чародей мгновения, виртуоз эпизода. Никакой Оливье не сумел бы столь ловко подать пальто, споткнуться и опрокинуть поднос. Эпизодов случалось с избытком. В платяя твоего артистического гардероба можно было бы приодеть всю голь карнавальную Копакабаны. На досугах ты открывал многоуважаемый шкаф и бережно перебирал висевшие в нем наряды. Так сентиментальный мемуарист листает гроссбухи собственных сочинений. С какою-то грустью. Помимо препаратурского халата тут наблюдались: сюртук конторского клерка, униформы циркового уборщика и театрального брандмайора, безрукавка истопника и фрак трубочиста, костюм жокея и фартук рыночного торговца, китель егеря и траченная собаками телогрейка их дрессировщика, шинель рядового

и смирительная рубаха. Последней ты дорожил как реликвией. Парадоксально: этот неброский наряд символизировал твою постепенную эмансипацию от общественно-политических предрассудков. Ибо именно в ней ты ступил на путь, ведущий в граждане мира и председатели шара. В ней в то хмурое по-толстовски утро тебя увозили из мерзкой солдатской казармы - в самое вольное изо всех учреждений отчизны. Карету, украшенную красным крестом, подали к краю плаца, где муштровали гвардию. И ведомый сквозь строй ее почетного караула, ты кричал верноподданным, вселяя в них бодрость и гордость за своего короля: Долой рококо и барокко, да здравствует сюрреализм. И в той же рубахе семьсот двадцать девять уколов спустя предстал ты перед высочайшей комиссией. Ну-с, теперь-то вы сознаете, батенька, что вы никакой не Дали? - сказали тебе военные эскулапы. Так точно, теперь я - дивная куколка, выросшая из простой личинки. Какая прелестная метаморфоза. Смотрите, я совершенно окуклен. Прямо роденовский Оноре. Благодарю вас. Я благоустроен. Я больше ни в чем не нуждаюсь. И где-то внутри, в средоточье, где прежде щемило, мне сейчас бесконечно; точнее - бесконечно уютно. Но в целом - я весь тревога. Уведомлен ли о случившемся сам Сальвадор? Необходимо телеграфировать. Цито! Мол, честь имею. Преобразился. И подпись: Тревожная Куколка. Позаботьтесь, уж будьте любезны. Только боюсь, маэстро не вытерпит этой утраты. Ах, мы были с ним так двуедины. Рыдает. Смирительная рубаха на глазах темнеет от слез. И именно в ней в знак протеста против конквистадорской политики позднесредневековой Испании и лично Америго Веспуччи маршировал ты своим неласковым городом вскоре по выписке. Ты унес ту рубаху келейно. Ты похитил ее из дурдома, словно герой-лазутчик - знамя из неприятельской штаб-квартиры. То было знамя морального большинства, ведущего необъявленную войну с Художником. Совершив сей подвиг, ты в значительной мере ослабил гидру. Однако был по крайней мере еще один повод для ликования. В соответствующем документе значилось вожделенное: Никуда не годен. Основание: Бред ничтожества на фоне вялотекущей мегаломании. И - ликовал. И являлся в своей рубахе среди недобитых гениев от изящных искусств, меж эстетов, дерзавших гласить крамолу на съезжившихся площадях и в томных салонах. И в зале - по скользкой эмали - из бледно-оранжевой дали. О рубаха. Это именно в ней ты прожег свою юность, будто бы сигаретой - дыру. Ах, навывлет. Какая неаккуратность. Ну разве неясно, что с подобного рода вещами следует обращаться бережно. Ведь - реликвия. Вспомни, это именно в ней ты кипел отличиться в лучших своих эпизодах, служа вышибалой, менялой шила на мыло, натурщиком, вечным студентом и прочим ловким Гаврилой. В ней, терпя и трудясь, ты вырос в типичного представителя своего экстракласса - класса лишних в своем отечестве. В ней влился в ряды достославного ордена Отставной Козы барабанщиков. Ордена мятущихся и бунтующих, неприкаянных и непридельных, правдоискателей и юродивых ради идеи-фикс, где магистром сеньор Кихот. Барабанщик милостью Божьей, барабанщик до мозга костей, ты был откровенным врагом всего, что не нравилось. И не беда, что в силу окукленности собственно барабанить было тебе не с руки. Что нужды. Зато ты стал выдающимся теоретиком барабана, отважным его идеологом. И сражаясь за правое дело Священной Козы, барабанил не палочками по ее барабанной шкуре, но сердцем - в ребра, но кровью - в висок, но ею же - в барабанные перепонки свои, но воплем - в чужие. Вот почему, умирая, ты сможешь сказать: Руку на сердце, я был неплохим барабанщиком перед Богом. Похороните же с почестями. Только попусту в изъян не вводите - саван не шейте. Обрядите в рубаху - и баста. На память о том моменте, когда я жил-был, боролся и барабанил. И если угодно - мыслил. Ты мыслил как куколка. Как индивидуум. Как поколение. Как класс. Потому что тебя было много. Гораздо больше, нежели платьев в фиглиарском твоём шкапу. И больше, чем тех эпизодов. Однажды ты оглянулся и понял то самое, что за век до того осознал Уолт Уитмен, мечтатель заморский. А именно: ты многолик и массов. Тебя было столь много, что хватило бы на батальную киномассовку. Да что массовка. Достало бы на хорошую гекатомбу. И осознал, что едва ли не каждый из твоего бесчисленного числа окуклен тебе подобно - обряжен в ту же холстину. И ужаснулся ты за злосчастный народ свой, рожденный в смирительной косоворотке. И язык

его стал тебе горек. И исполнилось предреченное им в видениях ранних лет. Опечалившись за него, разделил с ним заботы и возлюбил его. Он растворился в твоей крови, стал пылью на крыльях: в те дни ты раскуклился и воспарил. Но не волшебной набоковской бабочкой, а угрюмым и серым ночным мотылем, окрыленным непреходящей тревогой. Правда, лучше парить угрюмо и серо, нежели не парить никак. Поступая указанным образом, ты осознал себя малой, но вольной молью родного наречия и хлопотал воспарять все выше. Однако же в целом язык по-прежнему - влачилсЯ вниз, во прахе немилрой юдоли, или лежал, как бесправный больничнЫй труп, потому что казавшееся в бреду молодого ничтожества мантией Великого Инквизитора было на деле таким же - как у тебя и у каждого - красным смирительным. И тупые, бескрылые препараторы над языком твоим все глумились, язвя. О несчастный, бессильный, оукленнЫй и оглупленный, говорил ты себе о нем. И молился. Господи, сохрани и помилуй присущее нам наречие, ибо иным не владеем. Сохрани и помилуй нас, тревожных его мотыльков, слабо реющих по свету и мельтешащих среди других языков и народов. От Упсалы до Буэнос-Айреса. Нас, угрюмых и серых, носящих на крыльях своих прах его летописей и азбук, пепел апокрифов, копоть светильников и свечей. Нас и тех, которые ищут выхода из смирительных обстоятельств, чтобы воспарить вслед за нами. И тех, что не ищут. И тех, что не воспарят. Воззри на нас и на них. Поговори к нам высоким Твоим эсперанто. Дай знак. Укрепи. Наставь. Подтверди, что Аз Есмь и что это уже не сон, а явь. А сон - разбуди и откройся. Лишь мне, малому мотылю. Мне, моли. Мне, праху и пеплу. Шепни на ухо. Прошелести опавшим листом - листом ли рукописи - бамбуковой рощей; за что?

В ДОМЕ ПОВЕШЕННОГО

Речь, сказанная в университете Эмори (г. Атланта) на конференции
"Переосмысление человека"

Пытаясь осмыслить свое понимание прав человека, я в качестве образца человека не мог отыскать никого конкретней себя и задал этому человеку ряд наводящих вопросов. Какое обстоятельство твоей биографии, спросил я его, представляется тебе наиболее неудачным? Не считая рождения как такового, ответил он, самым огорчительным я полагаю факт моей изначальной причастности к бесправному обществу. Конечно, могло быть хуже. Я мог бы родиться гражданином Китая, Камбоджи, Вьетнама, Великой Албании, негром Южно-Африканской Республики или вовсе подопытным кроликом. Но подобные рассуждения утешают мало, ибо забыть, что могло быть гораздо лучше, - не удастся. И естественно, что на вопрос о самом отрадном обстоятельстве я отвечаю: оно приходится на шесть часов вечера восьмого октября семьдесят пятого года, когда самолет, на котором я вылетел из Москвы, приземлился в Вене. Я шел подземным тоннелем к таможне и лихорадочно, но совершенно четко осознавал: невермор. И чувство свободы, которое я испытывал тогда и потом, гуляя по райскому вертограду Европы, было полным и высшим. Свобода почти материализовалась; она была музыкой механического волчка, которая непрерывно гудела в сердце. Со временем это чувство утишилось, но и теперь, спустя столько лет, я не устаю поздравлять себя с убытием из замороченной родины. Почему меня отпустили, думаю я, именно меня - из столькох желающих, страждущих и ненавидящих? Почему меня? спрашивал знаменитый соратник Сталина и враг народа Лаврентий Берия - герой моего романа "Палисандрия". Тот же вопрос, но в иной ситуации: министра влекли на расстрел. Почему, имел он в виду, не Хрущева, не Ворошилова, не Кагановича с Молотовым, не весь остальной ЦК, а его, Лаврентия Павловича? В жестоком жесте судьбы он не усматривал логики, и его наводящий вопрос казался ему законным. Но нам, потомкам, особенно физиономистам, виднее. Достаточно взглядеться в черты казненного палача, и диагноз ясен: сей кончит плохо. И верно. А кроме лица наше будущее обличают наши поступки. Ведь мы повторяемся, и положения, в которых находим себя в силу этих поступков, нередко бывают схожи. Некогда я зналсЯ с одним патологическим книгочеем. Он родился и вырос в Москве и никогда не выезжал из нее дальше могилы Бориса Леонидовича

Пастернака, что в двадцати от столицы милях, ибо всем путешествиям в мире предпочитал книгу. И был другой человек, который ни с кем никогда не ссорился, не порывал, не прекращал знакомств - чего бы это ему ни стоило. Перед вами стоит человек, решительно противостоящий тем двум. Всю свою жизнь он с чем-нибудь порывал, нисколько не дорожил никакими знакомствами и без конца куда-нибудь уезжал - далеко и надолго. Идеалист, эгоцентрист и романтик, он ставил истину выше дружбы и рассматривал свой уход из привычной и, зачастую, постылой среды как средство роста, как метод борьбы за свое эго. Он оглядывался на оставленное, как змея - на покинутую ею старую кожу: без жалости, облегченно, и в умении поступать так видел залог индивидуальной свободы. Ее он полагал своим основным и первейшим человеческим правом. Полагал, начиная с первого сентября пятидесятого года, когда, приведен впервые в одну из тьмы затхлых московских школ, - бежал, не приходя в сознание. Пойман был только вечером. Грустные сроки, проведенные в классах в качестве перманентно худшего ученика, бездельника и мятежника, пройдут недаром. Они представят пищу для размышлений о чеховской серости будней, о тупости и бесправии учителей и учеников их, они дадут материал для первой повести, которую он напишет, сбежав из престижной литературной газеты в волжские егеря. Рукопись тайно покинет Россию на два года ранее автора, потому что опубликовать ее там будет немислимо. Волей случая она попадет в Америку, в издательство "Ардис", где ее напечатают на английском и русском. То будет книга об утонченном и странном мальчике, страдающем раздвоением личности, об ученике Таком-то, который не может примириться с окружающей действительностью. Анархист по натуре, он протестует против всего и в конце концов заключает, что на свете нет ничего-ничего-ничего, кроме ветра. Автор симпатизирует своему герою. Их взгляды на права человека вообще и на бесправие русского человека в частности совпадают со взглядами третьего, более именитого диссидента. В книге цитируется свидетельство последнего, датированное глухоманью семнадцатого столетия. Оно показывает, что даже время не способно улучшить положение нашего народа, равно изменить его точку зрения на это положение. Выпросил у Бога светлую Русь Сатона, говорит протопоп Аввакум, да же очервленит ю кровию мученическую. Добро ты, диавол, вздумал, и нам то любо - Христа ради, нашего света, пострадать. Конец цитаты. Много терпение русских людей - историческая притча во языцех. И писалось о нем достаточно. Мне осталось добавить лишь несколько слов, да и то не своих. Я взял эпиграфом к "Школе для дураков" одиннадцать русских глаголов, составляющих известное исключение из до сих пор не известного мне правила. Гнать - держать - бежать - обидеть - слышать - видеть - и вертеть и дышать - и ненавидеть - и зависеть - и терпеть. За прошедшие после написания "Школы" десять лет мой взгляд на российскую ситуацию еще более помрачнел. Сказался, видимо, возраст, сказался опыт пребывания в странах с гуманным режимом. К тому же - и это случилось невольно - я занял позицию почти стороннего наблюдателя. И многое стало виднее. И, взирая на годы, прожитые моим народом до и после меня, я не могу не заметить, что вся история России есть история подавления прав ее граждан и граждан соседствующих с ней государств - ее правителями. Я никому не навязываю своих мнений. Но разубедить меня не удастся ни коммунистам, ни монархистам. И все-таки надежда на лучшие времена еще трепещет. Она трепещет, покуда хотя бы в романах у нас встречаются люди вроде Павла Норвегова, учителя географии из школы для дураков, что давно уже умер, но все еще продолжает являться. Вот человек бесстрашия и неограниченной внутренней раскрепощенности. Ибо чего убоюсь перед лицом вечности, восклицаем мы с ним, если сегодня ветер шевелит мои волосы, задувает за ворот рубашки, продувает карманы и рвет пуговицы пиджака, а завтра - вырывает с корнем дубы, возмущает водоемы и разносит семена моего сада по всему свету. Убоюсь ли чего я, Павел Норвегов, честный загорелый человек из пятой пригородной зоны, скромный, но знающий свое дело педагог, чья худая, но все еще царственная рука с утра до вечера вращает планету, сотворенную из обманного папье-маше. Дайте мне время - я докажу вам, кто из нас прав. Я когда-нибудь так крутану ваш скрипучий ленивый эллипсоид, что реки ваши потекут вспять, вы забудете ваши

фальшивые книжки и газетенки, вас будет тошнить от собственных голосов, фамилий и званий. Гневный сквозняк сдует названия ваших улиц и закоулков и надоевшие вывески. Вам захочется правды. Завшивевшее тараканье племя, укоряем мы с Павлом Норвеговым наших читателей, безмозглое панургово стадо, обделанное мухами и клопами. Великой правды захочется вам. И тогда приду я. Я приду и приведу с собой убиенных и обиженных вами и скажу: вот вам ваша правда и возмездие вам. И от ужаса и печали в лед обратится ваш рабский гной, текущий в жилах у вас вместо крови. Конец цитаты. И так, да здравствует свобода. Свобода, о которой в словаре цитат имени Барлетта сказано столько же, сколько о Боге и любви. И тем не менее, повторив вслед за кем-то великим: свобода - мой Бог, хочется добавить еще что-нибудь от себя лично. Поэтому когда Протагор говорит мне, что человек есть мера всех вещей, я продолжаю мысль Протагора. А свобода, говорю я ему, есть мера всякого человека. В смысле - его понимание свободы, его отношение к ней. Отношение к ней большинства моих соотечественников, их непонимание ее меня неизменно взрывало. Особенно в юности. Случалось, в пылу мимолетной уличной или ресторанной дискуссии - дискуссии, в конечном счете, о правах и свободах, я использовал веский аргумент кулака, но судьба благоволила и тут: арестован за драку я никогда так и не был. Я был арестован совсем за другое - за серию самовольных отлучек из вонючей казармы, где подвизался курсантом. Мне и тут посчастливилось. Я сидел в той самой тюрьме и в том же крыле ее, где ждал расстрела недоумевавший Лаврентий Павлович. Только он сидел за одиннадцать лет до меня и двумя этажами выше - в номере люкс. Не могу поручиться за тот этаж, но на нашем права человека не обсуждались, хотя их и было предельно мало. Так, на камеру человек в девять полагалась одна "Правда" в день, а на утренний и вечерний туалет две минуты. Да и вообще, я никак не могу припомнить, чтобы в какой-то - студенческой даже - компании рассуждалось бы о правах человека. Рассуждалось бы, то есть, не мимолетно, но обстоятельно и серьезно, с выкладками. В скобках: возможно, что я вращался не в тех компаниях, так бывает. Рассуждалось, допустим, о запрещенной литературе, но речь не заходила о том, почему и кем она запрещена. Это разумелось само собой. Рассказывались антисоветские анекдоты, пелись подпольные песни, выкрикивались - вполголоса и шутя - крамольные лозунги, передавались сообщения, что тех-то судят, а тех-то уже осудили. Но никогда не подводилось под все это теоретической базы. Никто не заявлял, что в силу таких-то и таких-то статей Конституции мы, советские граждане, имеем право свободно слушать передачи зарубежных радиостанций и ездить за границу, а нам не велят. С одной стороны, каждый сызмала знает, что пользы от таких разглагольствований не будет: запрещено - значит, запрещено. А с другой стороны, в доме повешенного о веревке - молчок. Напрасно болтать неэтично. Все ясно без разговоров. Все все понимают. И это всеобщее понимание понимание безнадежности собственного положения - внутренне раскрепостило меня, я сделался несравненно вольнее. И я осознал, что ни жить, ни писать по-старому более не способен. После того, как высшая военно-врачебная комиссия официально признала меня неразорвавшейся бомбой, я получил белый билет и влился в блистательную толпу свободных столичных художников. К тому же стояли шестидесятые годы - самый демократичный период в истории режима после нэпа. По вечерам на площадях города читали друг другу стихи молодые гении. Я был одним из них: немного поэт, немного бродяга. Власть была к нам почти равнодушна. И тем не менее именно в те счастливые месяцы я понял, что рано или поздно сбегу из этой страны. Хотя бы из здорового любопытства. Скушно, господа, всю инкарнацию томиться в родном и том же отечестве. На лодке ли через Черное море, на лыжах ли через Шпицберген, пешком ли через Лапландию или Памир. Да мало ли способов у нашего гражданина осуществить свое право не быть им. Я строил прожекты и предлагал приятелям отправиться вместе со мною. И только один - из примерно тридцати посвященных заинтересовался моим предложением. В результате он ныне обретается в Калифорнии, а остальные живут и, видимо, до конца дней будут жить по прежним адресам. В то время я был отчаянным, непримиримым максималистом. Я полагал, что из сложившейся у нас в стране ситуации есть приблизительно единственный выход:

массовая эмиграция. Массы не оправдали моих надежд. И слава Аллаху, говорю я теперь, не всем обязательно убегать, порывать, капризничать должен же кто-нибудь населять державу. Но и теперь, став вдвое старше того вольнолюбивого поэта-шестидесятника, я втайне - втайне, чтобы не подорвать себе репутацию солидного, с портмоне, человека - не понимаю: какого дьявола миллионы милых, чудных, душевных, смысленных, честных моих соотечественников терпят условия своего существования. Разве не унижительно жить в стране, где попорно то, что мы здесь так свободно переосмысливаем. И разве не стыдно ее населять. У меня в Москве был знакомый - молодой дипломат. Подолгу служил в Нью-Йорке секретарем советского представительства. Однажды, когда он в очередной раз приехал в отпуск, я прямо так и спросил: послушай, дескать, дружище, жена тебя все равно оставила, детей у вас нет, ты - вольная птица, скажи мне, зачем ты все сюда возвращаешься, что ты здесь потерял? И хоть выпито было к тому моменту уже достаточно, он просто не понял вопроса. Точнее, понял, но столь поразила его, что в это время кто-то вошел и вопрос остался открытым. Пытаясь закрыть его, я прибегаю порою к банальнейшей параллели. Есть разные птицы, говорю я себе. И тут же память подсказывает строку Жака Превра: "Чтобы нарисовать птицу, нужно сначала нарисовать клетку". Разумеется, отвечаю я, разумеется, есть и клетка. И в ней есть разные птицы. И птица-секретарь, предположим, прекрасно переносит свое заточение, разве что немного жиреет. А, например, птица-соловей в той же клетке молчит и дохнет. А птица-феникс? О, птица-феникс верна себе и в неволе. Она в знак протеста сжигает себя, и когда ее пепел выметают из клетки, она возрождается и улетает. У нее обостренное - пламенное чувство собственного достоинства. Едем дас зайне, или - оставьте мертвым хоронить своих мертвецов, свои права и свободы. Я оставил. Я быстро побросал в чемодан несколько ненужных вещей и, ни с кем не простившись, совершил очередной уход из постылой среды. Массы не оправдали моих надежд, и я решил вопрос об эмиграции в индивидуальном порядке. То был самый трудный уход. Я полагаю, он удался по той причине, что ради него я был готов пожертвовать почти всем. Да, в сущности, и пожертвовал. Жизнь на Западе представляется вполне подходящей. Я нахожу здесь именно то, что надеялся обрести. Здесь установлены именно те права и свободы, которые мне наиболее дороги. Свобода собраний и манифестаций. Право уезжать из страны проживания и право в нее возвращаться. Право свободно выражать свои идеи в любой форме и право не выражать ничего. Как писателю мне особенно импонирует отсутствие цензуры в газетах, журналах, издательствах. Примечание: исключение составляют некоторые русскоязычные издания. Парадоксально, что часть из них выходит при поддержке Америки и на ее земле. Рабская трусость, лживость и косность неизлечимы даже путем эмиграции. И довольно об этом.

НА СОКРОВЕННЫХ СКРИЖАЛЯХ

Речь, сказанная на конференции "Русская литература в эмиграции"

(Лос-Анджелес)

Само ли прекрасное приискивает себе подмастерьев среди беспризорных и озорных духом и, очаровывая невечерним светом своей бесполезности, возводит их в мастера? Премного ль обязаны те умениями своими прекраснодушным наставникам из ремесленных душегубок? Иль все начинается и творится по воле прекрасной инакости - отрешенно и вопреки? Иными словами: на чем мы остановились? что умозаключили на наших тысячелетних досугах? что было и будет в начале: художник или искусство? И: наличествует ли наше прекрасное, если мы не имеем его в виду, отвернулись и очерствели. Или ударились в безобразное. Положим - в безобразии благополучия, небытия - в этот крошечный стыд; в безобразии сплетен об истине. Где там, кстати, в каком балу влачится ее драгоценный шлейф, отороченный благородным сунсом? Что нам делать без этой сиятельной дамы, ведь в наших собраниях повисла масса вопросов. Ведь нам не удастся не только сравнить их с висящими на наших же вешалках старомодными зонтиками и тростями, но и выпрямить эту согбенность, исправить их вопросительную горбатость - словно бы раболепную, угодливую,

а в сущности настырную и узурпаторскую. Вопросы пленяют нас. Что там себе поддельвал в деревне зимой Александр Сергеевич и как хороши, если конкретизировать, в какой именно степени были свежи розы Ивана Сергеевича? Как - а главное: чем делать стихи и вообще изящное и замечательное? И если нечем, то чем тогда заниматься? Не сочинить ли биографию Навуходоносора, не составить ли мемуары, не податься ли в отцы нации, не причислиться ли к лику святых? Кто есть кто? Кто зван, а кто призван? Или просто ребром: ты меня уважаешь? На улице неотложных вопросов - фиеста. В балаганах политики, идеологии и тщеславия - полный сбор. Там витийствуют околоседы, вещают пророки. Именно там на публику, обданную словесной дристей и тем умиленную, является во всем белом сама Посредственность. Ну а те-то, которые беспризорные духом? В культуре, подвергшейся множественным разможжениям духа с применением лакированной тары, затоваренной умопомрачительной требухой, глас они вопиющего в индифферентности: подайте юридическому копеечку. И что, казалось бы, делать - только не Александру Сергеевичу и не зимой у себя в поместье, а мне, Александру Всеволодовичу, круглый год и в совершенно иной земле, где не пахнет клубника, сирень, черемуха, деревья забыли свои имена, где о свойствах древесных лягушек можно потолковать лишь с самоотверженным соколоведом Доном Бартоном Джонсоном, а на кладбищах вместо мудрых могильщиков с их гуманными лопатами и веревками работают трубоукладчики и бульдозеры? Что делать нам всем, для которых полупроводник - это не более чем проводник, обслуживающий два вагона? Конечно же - преподавать, прометействовать, возжигать светильники разума, университетов же - тьма. Как возможно не знать произведений Дамокла, трудов Сизифа, философских воззрений Прокруста, - воскликнул профессор, до слез восхищенный неведением студента. Да будет вам, - отмахнулся студент, - у вас - своя компания, у нас - своя. В самом деле, с чего сей экзальтированный экзаменатор возомнил, что его дисциплина чего-нибудь стоит, чего он пристал к представителю молодежи? Видать, господин профессор - приезжий, небось эмигрант из какой-нибудь там России, где, слышно, Союз писателей играет роль чуть ли не оппозиционной партии. И чего еще церемонятся там с этими борзописцами. Вот отрубят им всем, говоря по-китайски, собачьи головы - тогда узнают. Не скажу за Париж, за Лондон, за Копенгаген. Быть может, процесс выздоровления объединенных наций от литературной хандры происходит неравномерно, и в ряде одряхлых столиц, как в каких-нибудь бразилиях и сибирях, еще не в курсе, что лавочку изящной словесности пора прикрывать. Но у нас в Новом Свете, рекомендуясь: писатель, - вы должны непременно оговориться, что позволяете себе данное слово в значении здесь отставном и невнятном. Ибо в представлении нечитающей массы райтер - это человек, умеющий набросать письмо, заявление, пособие по бегу трусцой, трактат о диете или какой-нибудь Горьки Парк. Поэтому слово "графоман" имеет в местном наречии узкоклинический смысл. Да и чего там, право, эстетствовать, элитарничать. Здесь нам не петербургский салон времен замечательного поэта-нудиста Константина Кузьминского, пусть сам он и переехал в Техас. Оставьте в покое свою Мнемозину, милостивый государь, не теребите ее, не мусольте. Когда я, оздоровленный новейшим опытом, живописую коллегам, что значит в стране моего языка быть писателем или хотя бы слыть им, то чувствую сам: баснословен. А когда, вояжируя из Канады в Америку, меня на таможне спрашивают: занятие? - и я отвечаю: писатель, - меня немедля начинают обыскивать. Потом прибывает проникновенный гражданин в штатском, и у нас заходит душеспасительная беседа на предмет сердечной привязанности. В Канаде, говоришь, родился? А пишешь, говоришь, на русском? А сердце твое, говоришь, где? Мое сердце - летучая мышь, днем висящая над пучиной кишечной полости, а ночью вылетающая сосать удалую кровь допризывников с целью ослабления ваших вооруженных сил, сэр. Вот как уклончиво следовало бы мне отвечать, но я опасаюсь прослыть излишне сентиментальным. Ведь моя литературная репутация и без того уж подмочена. Вы знаете, отчего я столь внимательно вас лорнирую? - сказала мне княгиня из первой волны, когда мы сидели с ней за одним из ее наполеоновских столиков, имея ленч. Помилуйте, возражал я, тушуясь. Я прочла вашу "Школу для дураков" два раза, продолжала княгиня, - и, поверите

ли, поначалу решила, что вы, по-видимому, вольнодумец, масон, а теперь догадалась: вы просто умалишенный. Лорнирует меня и канадская Ее Величества конная контрразведка. Однако ее осенила догадка иного толка. Ваша карта бита, - заявили нам в компетентном монреальском учреждении, - вы, Соколов Александр, он же - Саша, шпионы. Улики? Более чем достаточно. Во-первых, мы оба что-то все время пишем, а во-вторых, мы однофамильцы. Только один из нас, будучи монархистом, пишет нашу фамилию с двумя эф на конце, а другой, будучи сам по себе, с одним ви. Когда меня, наконец, арестуют, я утешусь следующим воспоминанием. Однажды в Италии был задержан немецкий лазутчик, который методически срисовывал старинные башни. И хотя он пытался уверить следственные органы, что он просто известный поэт, дескать, Гете, имя это ничего никому не сказало. Ведь Иоганн Вольфгангович тоже подвизался под рубрикой "Литрачер Бийонд Политике"* (* Литература вне политики, англ.). А ведь упреждал, упреждал меня пьяница дядя Петя, малограмотный провидец из-под Твери, где я работал егерем и писал первую мою книгу: Санька, - говаривал дядя Петя, - не ездь в Америку. Впрочем, когда он давал мне этот стариковский совет, об отъезде я даже не помышлял. И искренне удивлялся: Бог с тобой, Петра Николаич, с чего ты взял, какая Америка. Вижу, вижу, - читал он мою судьбу, - уедешь. Слова его тем более озадачивали, что мы никогда не заговаривали с ним о политике. Газет в деревне не получали, радио не слушали и жили размышлениями о состоянии реки, погоды, охоты. И пророчество дяди Пети являлось вдруг, в просторечьи прекрасной застольной беседы минимального смысла и осмысления. Странны, загадочны и трагичны события, происходящие в той захудалой местности, где, кроме меня, обретали покой и волю Чайковский и Пришвин, Рильке и его переводчик от русской сохи Дрожжин, но где душа человеческая не многим дороже пары сапог. Там протекает Волга, она же Лета, впадающая в тюркское море забвения. Чаевничая ее водою, входя в обстоятельства ее берегов, делаешься навсегда причастен к необъяснимому и нездешнему - в ней и судьбах ей обреченных. Недавно я получил письмо от приятеля-браконьера. А что, начинается эта неглазированная деревенская проза, не сказывал ли тебе Петра Николаич, чтобы не ездил куда не след? Не послушал - вот и не знаешь про нашу здешнюю жизнь. После утопления Ломакова Витька за время твоего отсутствия - приключилось. Помнишь ли Илюху-придурушного? Пошел Илюха за Волгу за выпивкой в День Конституции, а лед еще слабый был - так уж после только лыжи нашли. Костя Мордаев, который инвалид-перевозчик: тому конец загодя был известен. Вот и уснул на корме. Глубины, куда култыхнулся, с полметра было. Но Мордаеву и того достало. А теперь про Вальку, Витька-хромого жену, да про бабку-Козявку. На ноябрьские поехали на ту сторону в магазин, а уж закраины обозначились. Выпили в магазине - и обратно гребут. А когда на лед вылезали, то опрокинулись. Стоят в воде и кричат. Услышали их в домах, стали мужей ихних будить, а те сами в стельку. Проснулись они утром, а жены их - в сетях стылые уж лежат. Запили мужики пуще прежнего. Или вот Борька-егерь как-то с папироской уснул. Ну и сгорела изба. Да и от Борьки ничего не осталось. И еще много всяких таких историй случилось у нас и в соседних селах, заканчивается этот сокращенный мною мортиролог, обо всем не расскажешь, книжку надо писать. Я написал ее. С фотографией деревенского ясновидца Петра Красолымова на обложке книга "Между Собакой и Волком" вышла в "Ардисе" за несколько месяцев до получения мной сих печальных известий. Тем не менее все они в той или иной интерпретации в ней прочитываются. А что касается невзгод человека, который стал прототипом матроса Альбатросова, то эти невзгоды постигли его чуть ли не в полном соответствии с сочиненным. Увы: написанное сбывается. Ибо судьба подсказывает беспризорному духом решения, которые уже приняла. И мастер ли сочиняет житейские мифы, они ли - его, все равно: текст промыслен все там же, на сокровенных скрижалях. И не судьба ли ответит на все вопросы, не она ли решит, что пребудет: молчание или слово? И если потребуется - вырвет наши грешные языки.

PALISSANDRE - C'EST MOI?*

(* Палисандр - это я? фр.)

Слово, сказанное в Южнокалифорнийском университете на симпозиуме,
посвященном творчеству Иосифа Бродского и Саши Соколова
Посвящается ОМ, АБ, ДД, АЖ, АЦ

Создатель изысканных прозаических партитур Набоков не понимал назначения музыки. Сартр поплыл по течению экзистенса и потерял его смысл. Недостойный их современник, я утратил вкус лишь к сюжету. А любит Б, Б - В, В - Г. Какая доука. Если любое сравнение клавдикант, то всякий сюжет инвалид высшей марки, член привилегированной гильдии калик перехожих, коего благодетельная вдова залучает под вечер в дом, дабы умыть безногому ноги его. Самовар поспекает - смеркается - лается на луну. И не успела еще догореть лучина, а уж лукавые жмурки не отличить нам от пламенных ласк. Жанр федотовской кисти. Пост мортем. Сюжет навязан художнику сочинителем С, в чьей неразборчивой памяти оживает уж случай в булочной. Чу: ничем не бравируя и ничуть не рисуясь, туда является некто и спрашивает, а нет ли изюму. Ставя русскую истину - как бы та ни была горька - выше приторного притворства японского этикета, ему отвечают прямо: Вот, нету. Однако пришедший не успокаивается на достигнутом. А батоны с изюмом? - молвил он с едва уловимым поклоном. И возражали: Вот, есть. И тогда говорит им спокойно и просто: Наковыряйте-ка с фунт. И отныне - в святцах он городского фольклора. Да чем же так дорог нам образ данного покупателя? Какие качества привлекают нас в этом герое? Пытливость? Находчивость? Неуспокоенность? Несомненно. Но в первую голову - дерзновенность. Она завораживает. Она заразительная. И когда я слышу упреки в пренебрежении сюжетом, мне хочется взять каравай словесности, изъять из него весь сюжетный изюм и швырнуть в подаянье окрестной сластолюбивой черни. А хлеб насущный всеизначального самоценного слова отдать нищим духом, гонимым и прочим избранным. Говоришь ли об отделении изящного от государства - политики - средств информации средств производства и производства средств? - встрепетается имеющий уши. Ты - говоришь. Я - кричу. Ибо чем, кроме крика, рассеять нам тут окрестную мглу. Но жизнь продолжается, и ни дня не обходится без сюжета. Смотрите, смотрите, Г любит Д! Вы шутите. Истинный крест. А Д? А Д обожает Е. А вон там, левее, в затхлом углу, Е - Ё. А меж тем профессор Южнокалифорнийского университета Ж ежезимне наезжает кататься на лыжах в Вермонт к сочинителю С. Целыми днями сидя на застекленной террасе виллы с видами на глазированные хребты, приятели попивают глинтвейн и красиво грассируют про российскую литературу. И если в районе обеда оба еще довольно тверды в убеждении, что одна, то уже ближе к ужину отчетливо различают: две. И если на завтрак чего-то и хочется, так лишь полицейского чаю. Но если поэт делит всю ее на написанную с позволения и - без, публицист Юрий Мальцев - на вольную и невольную, летописец Владимир Козловский - на подцензурную и нецензурную, переводчик Барбара Хельдт - на мужскую и женскую, пятый муж моей бабушки пушкинист Дмитрий Дарский - на пушкинскую и всю остальную, если франко-английский писатель и фортепьянист Валерий Афанасьев советует вычлениать из нее - окромя деревенской - особые прозы рабочих окраин, казачьих станиц, кишлаков городского типа, эт цетера, то сочинитель С и профессор Южнокалифорнийского университета Ж - о Боже, как хорошо, как уютно им там, у камина, в этих лекалообразных качалках и коконах козьих шотландских пледов - они сквозь магические кристаллы своих хрусталей различают словесность, сработанную на скорую руку и созданную не спеша. Последняя вызывает у собеседников чувство неизъяснимой приязни. Друзья полагают себя апологетами медленного письма, и взгляды их на природу его совпадают. Беседа конспективно, прекрасное просто обязано быть величаво. Хотя бы условно. И пусть величавое не обязано быть прекрасным, оно им невольно является. Исключения вроде гигантских мусорных куч или чудовищных каракатиц и редки, и спорны. Но как бы там ни было, величавое кажется столь же очаровательней суетливого, сколь равелевское Болеро возвышеннее хачатуряновского Танца с саблями. Впрочем, как День Творения не имеет ничего общего с днем календарным, так и художническая медлительность, например Леонардо, не есть медлительность идиота или сомнамбулы. Это неторопливость другого порядка. Текст,

составленный не спеша, густ и плотен. Он подобен тяжелой лете́йской воде. Ах, Лета, Лета, писал один мой до боли знакомый, как пленительна ты своею медовой медлительностью, как прелестна. Текст лете́йской воды излучает невидимую, но легко осязаемую энергию. Теоретики медленного письма обозначили эту энергию термином архаическим и заумным, как шахматная игра, из лексики коей он и заимствован: качество. Но, помимо сей голой абстракции, неторопливый стилист обретает и нечто существенное. Блаженны медлительные, говорит мой до боли знакомый, ибо они созерцают течение Вечности. Медлители - это гурманы, эпикурейцы искусства, так как только они вкушают истинное наслаждение и пользу от творческого процесса с его облагораживающими терзаниями. Не напрасно погрязший в страстях Достоевский мечтал сочинять не спеша, как Тургенев: хотелось очиститься. Федор Михайлович думал, войди его быт в наезженную колею, не преследуй его кредиторы, не мучь падучка да совесть, он записал бы в свое удовольствие - с чувством, с толком. Он заблуждался. Способность к медленному письму не зависит от бытовых обстоятельств. Это - от Бога. И если вам не дано, научиться писать не спеша столь же невысказано, сколь научиться летать, не отравив прежде крыльев. Сочинителю С - дано. Гений медлительности выказал он еще в чреве матери. Как бы предвидя все неурядицы, весь неуют земного существования и словно догадываясь, что всяческая суэта - от лукавого, он родился десятилетним. Выйдя вон, младенец предстал и огромен, и величав. Рекорды родильных учреждений канадской столицы пали. И, вся поваленная сюжетами, потекла перед его изумленным взором - жизнь; Ё - К - Л - М - Н. Через несколько лет по явлению С вынужденно покинул родину, а через тридцать три года вернулся к ее пределам. Той осенью в славном граде Детройте, в консульстве, осененном кленовым листом, ему надлежало дать клятву на верность Ее Великобританскому Величеству Елизавете. Утром в день церемонии сочинителю С позвонил консул О. Мы никогда не встречались, сказал он взволнованно, но я о вас чрезвычайно наслышан. Дело в том, что мой батюшка принимал роды у вашей мамы. Ваш случай был самым крупным успехом во всей его практике. Между прочим, не доводилось ли вам бывать в оттавском музее патологической эмбриологии? Не премините, отец был его основатель и попечитель. Чудесная экспозиция. Специалисты считают ее лучшей в целом Онтарио. Там собраны разного рода зародыши. Папа вложил в это дело всю душу. Но я никогда не забуду, с какой неподдельной грустью он говорил, что без колебания променял бы все эмбрионы в мире на один только ваш. О нет, нет, не подумайте! Как гинеколог и гуманист он абсолютно искренне радовался, что все обошлось. Однако в нем жил еще неумный исследователь, страстный коллекционер, отчаянный экспериментатор. Иными словами, вы не можете отнять у человека мечту, не так ли? С не ответил. О продолжал: Все эти годы мы, О, думали о вас постоянно. Вы стали нашей семейной легендой, реликвией, и мы аккуратнейшим образом отмечаем ваш день рождения. Кстати, вы обратили внимание: вас угораздило на две даты, и революция, и кончина Толстого. А как вам нравится это созвучье - Оттава, Остапово. Мистика. В общем, мне страшно не терпится вас увидеть, скорей приезжайте, дружище, сказал консул О. С отправился. Но стремясь сохранить душевное равновесие, мы описание мрачноватых детройтских предместий заменим здесь небольшим элегическим отступлением. В знак будущей ностальгии по нашим вермонтским беседам на застекленной веранде с видами на глазированные хребты я, сочинитель С, посвящаю вышеизложенное рассуждение о литературе лете́йской воды собеседнику моему профессору Ж. И вот я у цели. По мере того, как, предшествуемый глашатаем, входил я в предписанный кабинет, лицо джентльмена, медленно поднимавшегося мне навстречу из своего глубокого, словно счастливый обморок, дипломатического шезлонга, - заметно менялось. Это лицо опадало. Так опадают небрежно подвязанные чулки, занавески, жалюзи. Так опадает опара. Анамнез: сын доктора О ожидал увидеть героя семейных мифов, существо величиной с Вяйнемаянена, с Гайавату, а тут вошел человек не крупнее С. Диагноз: консула О постигло хроническое разочарование, сопровождавшееся острым опущением лица. Точно такое же разочарование испытывает читатель, когда знакомится с автором какого-нибудь героического произведения, а тот - на поверку

оказывается ничуть не героем. А автор сентиментального произведения оказывается прожженным циником, хулиганом. А создатель блестящего детектива - откровенно скушным. А воспевший маленького человека Чехов, наоборот, велик: семь футов. А Галич, написавший несколько песен в лагерном жанре, в заключении не был. И когда это выяснилось, стали думать, что и Алешковский никогда не сидел, и снова ошиблись. Итак, та неотъемлемая наша часть, которую мы называем читатель, упорно не хочет усматривать разницы между героями и сочинителями и отличать художественный умысел от фактографии. Когда в Москве появился мой первый роман, одна из ближайших родственниц автора принялась убеждать знакомых, что я все это придумал и что в действительности все было совсем не так, потому что на самом деле мы никогда и не думали продавать дачу и я никогда не ездил в город заниматься музыкой, а главное - разве она могла бы хоть раз изменить супругу с каким-то там педагогом. Воображаю, какие хлопоты предстоят ей в связи с "Палисандрией". Что вы, что вы, будет она говорить соседкам, он же никогда не интересовался старухами, он гулял исключительно с девушками - Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Как же, как же, так они ей и поверили, эти наши соседки, особенно пожилые. Кикиморы чертовы. А я - что я сам могу предпринять, чтобы спасти свое доброе имя? Дыша духами "Ночная фиалка", быть может, пачулиями доброй волшебницы Лауры Эшли, юная "Палисандрия" впервые отправляется в свет. И покуда наш просвещенный читатель еще не коснулся ее руками своими и не сделал далеко идущие выводы, я должен взять превентивные меры. Флобер вольно же ему откровенничать: *Madame Bovary c'est moi.** (* Мадам Бовари это я, фр.). Ведь если подумать, не такая она и падшая, эта Эмма. Даже для моего жеманного времени. Как справедливо заметила бы в ее отношении светлейшая княжна Черногории Мажорет Модерати, в девичестве - Навзнич: Ах-ах, двое любовников, целых двое. И дико расхохоталась бы гордой Эмме в лицо. А затем, исхлестав ее всю жокейским своим хлыстом, позвала бы с улицы каких-нибудь отвратительных, покрытых хрестоматийными стружьями нищих бродяг и приказала бы им взять несчастную. И наблюдая за этим целительным наказанием, приговорила бы шепеляво: Не сметь, не сметь обманывать мужа. Ибо она шепелявила. Иными словами, сегодня, когда горизонты приличия раздвинуты много шире, чем прежде, двое любовников или любовниц - это не то чтобы мало: это мало до неприличия. Но с другой стороны, к достижениям вроде лопедевеговских современное общество тоже еще не готово. А Палисандр, как известно, перещеголял испанского драматурга уже в пору своей монастырской юности. А уж что было потом - о том и говорить не приходится, сплошной моветон и шокинг. И поэтому я, сочинитель С, перед лицом своих критиков должен голосом вопиющего прокричать слова страшной клятвы: *Palisandre c'est ne moi pas** (* Палисандр - это не я, фр.). Ибо похож я на племянника Берии, внука Распутина или хотя бы на гермафродита? И полагаю ли я, будто вся предшествующая мне словесность есть лишь робкая проба пера. И служил ли я ключником в Доме Массаж Правительства, работал ли в труппе странствующих проституток, соблазнял ли кладбищенских вдов, вешал ли кошек. *Jamais** (* Никогда, фр.). Правда, я ловил и душил цыплят, да ведь кто же их не душил в те поры. Милое босоногое детство, куда ускакало ты на своих зеленых кузнечиках. Впрочем, чтобы не быть голословным, приведу два-три доказательства. Было так: цепь счастливых случайностей и времен распалась, и гиря ходиков упала Палисандру на нос. Тогда хирурги вживили ему туда платиновую пластинку. И когда наступал приступ тик-така, Палис начинал часто-часто пощелкивать себя по носу, и звук тех пощелкиваний был до странности звонок. А у меня? Ничего подобного. Хотя и тут вы можете только поверить мне на слово, потому что пощелкать и даже просто пощупать я вам, разумеется, не позволю. Есть, правда, нечто, что мы могли бы не только пощупать, но и измерить. Только для этого надо поехать в Эмск, на Новодевичье кладбище и посетить там ряд заброшенных склепов. П говорит, что постаменты в тех склепах были раздражительно высоки. А ведь даже и мне, который так разочаровал консула О своим обычным размером, они были, что называется, в самый раз. И то же можно сказать по поводу подоконников в эмских подъездах: вполне комфортабельны. Из чего следует, что Палисандр не только не

величавый гигант, каким он себя нам рисует, а едва ли не лилипут. И значит, П не равно С. И все же на усредненном лице моего воображаемого читателя я вижу выражение недоверия. Вижу и сознаю, что достаточно вескими аргументами не располагаю. Да и кто я, в конце концов, такой, чтобы рассчитывать на приятное исключение. Обретаясь в таком бессилии, я взываю к доброжелательным критикам, прося их побыть моими свидетелями и адвокатами и объяснить читательскому суду, что писатели обладают способностью абстрагироваться от конкретного Я. Я - Ю, Ю - Э, Э - Щ. О амурная карусель алфавита! Даже и обращенная вспять, ты прекрасна. Крутись. Заранее благодарный доброжелательным критикам, я посвящаю им все части речи, со всеми их интертекстами. Все, за исключением той, которую посвятил уже Ж. А один из своих любимых стихов пера моего до боли знакомого дарю всем присутствующим.

Что в имени мне есть моем?

Что имя? Просто звук?

Кимвал бряцающий иль некий символ смутный?

Мне имя - Палисандр. С ним свыкся я давно.

И всюду я ношу его с собою.

Браню подчас, но более хвалю:

Любезно мне сие буквотворенье.

Я - Палисандр, и с именем таким

Я чувствую себя благоприятно.

Мы двуедины и созвучны с ним.

Но дерево ли я? Наверяд ли.

Так персонаж, по глупости своих

Родителей, что Львом зачем-то назван,

Отнюдь не лев. И Петр - не камень ведь.

И масса суть таких несоответствий.

И все-таки в те дни, когда один

В безветрии стоишь ты в поле хлебном

И, руки уронив, глядишь окрест,

Случаются события, что колеблют

Твою уверенность. То бурундук

Тобою скачет вдруг до ночи.

То ворон вьется вкруг

Очи ли выклевать,

Гнездо ли свить все хочет.

И мыслишь озадаченно: "Кто знает,

И может, ты - и дерево: бывает".

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В АМЕРИКЕ: В ОЖИДАНИИ НОБЕЛЯ

Лекция, прочитанная в Калифорнийском университете (Санта-Барбара)

Восточные мудрецы утверждают, что сорок лет - это молодость, и еще есть силы и время начать все заново. Надо лишь отречься от прежнего образа жизни и полностью сменить обстановку. Так поступали поэты в средневековой Японии. Прославясь среди земляков, они раздавали имущество и в одном застиранном хитатаре брели в чужую провинцию. Там они назывались другими именами и обретали иную творческую судьбу. Так поступили великие подвижники христианской поэзии Марк, Матфей, Лука, Иоанн. Откликнувшись на зов Учителя, они оставили мертвым хоронить своих мертвецов и пошли за Ним. Они следовали путем призвания. То был путь к вершинам духовности и, как выяснилось впоследствии, в большую литературу. Путь, исполненный горечи и лишений. Сам Он, величайший из посетивших эту юдоль поэтов, был и беднейшим. Лисицы имели норы, и птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имел где преклонить голову. Не Святым ли Духом - духом скитальчества, нищеты, самоотрицания, самоуничужения - жива

поэзия христианского мира; поэзия в том пронзительном смысле слова, в каком она только и может ею считаться. На русском Парнасе сей дух витает особенно ощутимо. Туг беден едва ли не всякий. Из именитых скитальцев достаточно вспомнить безумного Константина Батюшкова, разменявшего бытие по пятидесяти городам от Тобольска до Лондона, или бездомного Велимира Хлебникова. Л гениальные самоубийцы Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Сергей Есенин в рекомендациях не нуждаются. Впрочем, не стоит вдаваться в крайности. Здесь это не модно. Вернемся лучше к нашим японцам. Оптимизм их философий всегда восхищал меня, но что касается упомянутой выше теории, то прежде я никогда не принимал ее на свой счет. Ибо художник нередко идеалист, в силу чего недальновиден донельзя. Пока ему не исполнилось тридцать девять, сорок видится возрастом недостижимым, легендарным. До сорока надо еще дожить, годами твердит он, беспечный, беспечному собутыльнику в зеркале. И у того нет решительно никаких оснований не согласиться. И, уж конечно, никаких там *memento mori*. Ведь тот, кто творит нетленное, бессмертен и вечно молод. Однако случилось так, что я дожил. Я стал человек легендарного возраста. И, говоря фигурально, пришла пора применить старинное хитатаре. Повертевшись в нем перед все тем же зеркалом, я обнаружил, что оно мне вполне к лицу, но, к сожалению, обветшало не только материально, а и морально. Иными словами, менять обстановку уже не имело смысла. Лет десять назад я сменил ее так основательно, что инерции обновления хватит мне до глубокой молодости. Сначала я уехал из Москвы в Вену, где русский образ существования сменил на австрийский, а после отправился в Мичиган и австрийский сменил на американский. В ходе этих разъездов сменил три вида на жительство, три круга друзей и подруг, четырех дантистов, гражданство, диету, сколько-то пар ботинок и брюк, несколько мировоззрений, отношение к Израилю и Вьетнаму, к Голливуду и Уотергейту, к феминизму и гомосексуализму в целом. Сменил даже имя. В России был Александром, в Америке выдал себя за Сашу. Словом, легче перечислить, чего не сменил. Во-первых, и в-главных, я верен роду занятий. Я все пишу, а конца все не видно. Переживания, которые испытываешь по этому поводу, сходны с эмоциями машиниста из рассказа Рея Брэдбери "Тоннель". Поезд входит в обычный с виду тоннель, а выйти не может, потому что тот не кончается. Он не кончается никогда, и неизвестно, что будет дальше. Скорее всего, ничего хорошего. Понять состояние машиниста нетрудно: сей положительно заинтригован. То же в литературе: начав, никогда не знаешь, что из этой затеи выйдет, выйдет ли вообще и стоило ли браться за гуж. О муках писательского творчества писали все, кто писал. От Гесиода до Хемингуэя. Приятель последнего, Илья Эренбург, сказал, что самое трудное в мире дело водить перышком по бумаге. Человек и вообще-то слаб, а художник - тем паче. Он утончен, мягкотел, болезнен, и мировая скорбь беспрепятственно въет гнездо в его сердце. Зайдите на досуге в литературный салон. Сидя по разным углам, писатели смотрят волком, общаются внутренними монологами и мечтают о Нобелевской премии. Они грезят о ней так долго, что совершенно сроднились с нею, грядущей, и называют ее по-свойски и ласково: нобелевка. А то и пренебрежительно: Нобель. Перебивая кости семье изобретателя, как своей собственной, писатели вспоминают, что супруга его одно лето танцевала с юным математиком из местной школы. Узнав об этом, инженер пригласил нотариуса и к тексту своего завещания приписал постскрипту: "Математикам премии не давать". Слава Богу, она не связалась со словесником, радуются писатели, то-то было бы нам ахти. Ах, скорее бы уже свершилось. Но Нобель все нейдет, и писателям снова печально. Типичные жертвы экзистенциализма, они жалуются на одиночество и отчужденность, алкоголизм и мегаломанию, а сочинение прозы сравнивают с каторжными работами на рудниках, на галерах, со страстями роженицы и марафонца. Одно из самых тонких сравнений предложила Майя Каганская. Жизнь наедине с написанным, точнее - с пишущимся словом - это эмиграция, сказала она, эмиграция из жизни. Прочтя эти слова, я вспомнил замечание Алексея Цветкова, сделанное им на поэтическом вечере в Мичиганском университете. Некто из тех эмигрантов, что за годы изгнания не особенно преуспели в английском, но успели запомнить родной, раздраженно выкрикнул из зала:

Звучит красиво, но непонятно: о чем вы пишете? Я пишу о смерти, признался Цветков. Ответ поэта навел меня тогда на размышления о природе творчества. Фрейд считал, что познать ее невозможно. Методом психоанализа во всяком случае. Ему, ученому, виднее. Зато мне, писателю, чувствительней. И я чувствую, что природа творчества познается в его процессе. Она детальна, и платить за это познание приходится соответствующей валютой. Скажем, оболосами. И если нужно одним словом определить пафос словесности в ее высоких и естественных проявлениях, то можно вспомнить вышеупомянутое самоуничтожение. В подкрепление своим не слишком оригинальным умозаключениям и в помощь любителям сравнительной литературы процитирую еще одного мастера. Каждый, кто сравнивал западные стихи с подлинными стихами, написанными в тоталитарных странах, говорит он, вероятно, испытал своеобразное ощущение: это не варианты одного искусства, а как бы два разных его вида. То, что на Западе - забава или в лучшем случае исповедь на фрейдовской кушетке, на Востоке все еще является делом жизни, а нередко и смерти. На Западе слушатели поэтов - другие поэты, и то не всегда: на Востоке поэзия - с великим риском для своего автора - преодолевает изоляцию и отчуждение. Так говорит Томас Венцлова, литовский поэт. Подобно своему земляку, польскому поэту Чеславу Милошу, он живет в Америке. Здесь же гражданствует русский поэт Алексей Цветков. А эссеистка Майя Каганская и новеллист Юрий Милославский поселились в Иерусалиме. Сотни прозаиков и поэтов из стран Восточной Европы оказались в странах Западной, в Соединенных Штатах, Канаде, в Израиле. Это люди, выбравшие свободу. Свободу творческую и личностную, которой здесь так много, что ее забываешь ценить. Родившимся здесь она дается бесплатно. А им, рожденным в неволе, приходится платить и тут. И тоже недешево. Будучи писателями, то есть эмигрантами по натуре, по духу, они теперь стали эмигрантами и в национальном смысле. Они оторваны от своей нации, от привычной среды, а главное - от своего читателя. Не всякий способен преодолеть этот разрыв. Точнее - почти никто. Нечеловеческим усилием воли можно забыть о соловьях по-курски во имя цыплят из Кентукки. И примеров подобного героизма немало. Но как научиться писать на чужом языке? И - не письма, не заявления, не статьи, хотя их тоже; но прозу или поэзию. История русской эмиграции до недавнего времени знала лишь одного писателя, сумевшего это сделать. То был Владимир Набоков. Но вот появился еще один феномен: пианист Валерий Афанасьев. Знатоки, в частности скрипач Гидон Кремер, полагают его игру виртуозной. Афанасьев - лауреат нескольких международных конкурсов. После одного из них он попросил политическое убежище в Бельгии. Получив его, переехал во Францию. Продолжая концерттировать ради хлеба насущного, Афанасьев большую часть времени посвящает литературе. Свой первый роман он написал по-французски. Книга была опубликована в Париже и получила завидные отзывы критиков. Оставаясь жить во Франции, свой второй и третий романы Афанасьев написал по-английски. В связи со сказанным позволю себе экскурс в сравнительную психолингвистику. Владимир Набоков покинул Россию юношей. Валерий Афанасьев стал невозвращенцем в тридцать лет. Няня Набокова была англичанка, мать - англomanка, он говорил по-английски с детства и высшее образование получил в Кембридже. Афанасьев до эмиграции практически не знал ни французского, ни английского. Чтобы начать писать английскую прозу, Набокову потребовалось лет двадцать. Роман Афанасьева "Disparación" появился спустя шесть лет по исчезновении автора из прежней действительности. Когда после долгой разлуки мы встречаемся у него в Версале или у меня в Вермонте, Валерий искренне удивляется: Неужели ты все еще пишешь на этом варварском языке. Из всех человеческих недостатков снобизм представляется мне наиболее привлекательным. Да и вообще: по мере жизни на Западе становишься все толерантнее. Поэтому так же, как Афанасьев не устает удивляться, я не устаю объяснять ему, а заодно и себе, почему я пренебрегаю сокровищами более куртуазных наречий. Чтобы научиться всему, что я умею делать с русским, мне потребовались те самые сорок лет. Перейти на другой язык - значит заведомо писать ниже своих возможностей. Потому что овладеть им в равной степени немислимо. А я, как ты знаешь, максималист, говорю я Валерию. Чепуха, парирует

Афанасьев, я тоже максималист, а все-таки овладел и пишу. Хорошо, положим, что я решился; но языков масса: который выбрать? Английский, конечно, ты ведь живешь в Новом Свете. А если мне вздумается куда-нибудь переехать - в ту же, скажем, Японию? Тогда выучишь японский, говорит Афанасьев, любуясь своим хитатаре от Кристиана Диора. И эти слова его тоже звучат совершенно искренне. Моя лингвистическая ограниченность ему невнятна: он - гений. В то самое время, как я учился в школе для дураков, Афанасьев ходил в спецшколу для вундеркиндов. Но это различие не кажется нам слишком принципиальным. То общее, что нас связывает, гораздо важнее. Мы одного поколения. Оба обожаем Набокова, Беккета, Джойса и Боргеса. С некоторыми оговорками любим Маркеса. Благоволим Кальвино. Мысленно поощряем опыты Куэрти. Оба мы выросли в Москве и получили высшее образование в одном околотке. Только я околачивался возле университета, а Афанасьев имел отношение к консерватории. Улица, где все это происходило, носит имя выдающегося литературного эмигранта Александра Герцена. Эмигрантом был и ближайший друг его - Николай Огарев. В его честь тоже назвали улицу. Сегодня в России есть улицы Тургенева, Достоевского, Гоголя, Куприна и других писателей, предпочитавших жить вне ее - подолгу или всегда. В прошлом веке эмиграция стала у нас доброй традицией. Тогда же в российской литературе явилась проблема лишних людей. Так называли мятущихся героев дворянского, как правило, происхождения, не нашедших себе места в обществе, несозвучных своей эпохе. Ныне дворянского сословия у нас не существует. А в новой российской словесности не существует лишних людей. Они рассеялись, как дым их дуэлей, со всеми своими проблемами. Зато возникла проблема лишних писателей. Они несозвучны тоже. Однако не столько эпохе, сколько режиму. Лишние писатели не вписываются в рамки идеологии. У них беда: у них совесть, и они не могут молчать. Лишние писатели России - это те самые, что выбирают свободу - в речи и на письме - и, продолжая вековую традицию, уходят в прекрасное далеко и долго. Страна богата талантами. Имеются в ней и лишние живописцы, и скульпторы, и актеры, и музыканты. Они выбирают те же дороги: в молчание, в изгнание, в мастерство. Художники девятнадцатого века уезжали на Запад в поисках более широких перспектив и изысканных обстоятельств. Ими руководила любознательность и гипертрофированное чувство прекрасного. Лишними художниками двадцатого века движет чувство самосохранения искусства. И они скорее бегут, нежели едут. Они бегут от воинствующей посредственности. От культурной революции, условно названной социалистическим реализмом. Оказавшись в Америке, русский художник делается очарован ее красотами, свободами, дарованиями. Но постепенно он понимает, что и здесь дело не обходится без революции. Ее именем не отправляют в Гулаг, как это было в его отчизне. Ее именем не отрубают пальцев буржуазным пианистам и скрипачам, а философам и писателям - их собачьих голов, как случалось в Китае. Американская культурная революция, как сказал бы товарищ Сталин, это революция американского типа, это гуманная революция. Тенденции, вызванные ею в искусстве, суть изоляционизм, отказ от традиционных ценностей, размывание критериев, снижение уровня художественности. Ее лозунг - *business as usual** (* Способ зарабатывать деньги не хуже, чем прочие, англ.). Ее любимое детище - массовая культура. В противовес социалистическому реализму я назвал бы ее капиталистическим примитивизмом. Русский художник в Америке, как на родине, оказывается перед выбором: принять революцию или не принять. Причем принять - значит наступить на горло песне и забыть многое из того, чему научился ты в мастерской Европы. Забыть уроки Флобера, Томаса Манна, Феллини, Бергмана, Ионеску, Данте, Кафки, Вирджинии Вулф, Пруста. Забыть и никогда не спрашивать - ни себя, ни других, - как случилось, что в стране Мелвилла, Фолкнера, Диккенса основная масса публикуемого выглядит так, словно их никогда здесь не было, словно бы литература потекла вспять куда-то к Майн Риду и Фенимору Куперу. Принять - значит забыть о веслах и с улыбкой клинического энтузиаста отдаться течению. Впрочем, при всем желании утратить себя вполне - невозможно. Некто из тех российских художников, кто принял американскую культурную революцию и в результате успешно трудится в местном кино, сказал мне: Ты

даже не представляешь, насколько тут нужно продаться, чтобы тебя купили. Зато - свобода, утешил я соотечественника чем мог. Не принять же культурную революцию - значит не поддаваться царящей вокруг амнезии и голого короля полагать безнадежно голым. Значит - примкнуть к тем лишним художникам Америки, которые называют себя элитой, меж тем как уважающая себя публика зовет их богемой. Значит - остаться аристократом духа и ответственность за свое будущее prospereity возложить на Мак-Артура, Нобеля и других Годо. Значит - не наступать на горло песне, но петь ее самому себе, словно Сэлинджер. Если бы по достижении сорокалетнего рубежа я все же решил бы воспользоваться советом восточных старейшин, то стал бы художником в первом значении слова. Благодаря упорству я наверстал бы упущенное стремглав. Тема моей первой выставки формулировалась бы примерно так: Между Сциллой идеологии и Харибдой бизнеса - двоеточие - противостояние российской творческой эмиграции двум культурным революциям. Кроме портретов Барышникова, Солженицына, Рахманинова, Шаляпина, Бунина, Ростроповича, я бы представил изображения менее именитых, но не менее достойных деятелей искусств. Тут возникла б железная женщина нашей литературы Нина Берберова. Тут были бы скульптор Эрнст Неизвестный и прозаик Василий Аксенов, которые отстаивали творческую свободу в спорах с великими мира. И - скульптор Валентин Саханевич, что во имя ее переплыл на резиновой лодке Черное море. И - поэт Константин Кузьминский, запомнивший наизусть тысячи стихов независимых русских поэтов и опубликовавший их здесь в своей многотомной антологии. И - неистовые живописцы Владимир Некрасов, Оскар Рабин, Василий Ситников, Давид Мерецкий, Игорь Тюльпанов. И - все те мастера, о которых сказано прежде. Плюс много других, тоже призванных и бескомпромиссных. Следуя путем призвания, они удалились в чужие пределы и начали новую творческую судьбу. Смотрите, какие прекрасные, вдохновенные лица, говорил бы я посетителям своего вернисажа. Только боюсь, не все согласились бы с этой оценкой. Дело в том, что, по мнению специалистов, отсутствие у меня способностей к рисованию и живописи является полным. И чтобы не афишировать сей досадный для художника недостаток, я стал бы концептуалистом. Концепция моя состояла бы в том, чтобы не стеснять воображение зрителя никакими рамками. Ни даже полотнами. Впрочем, дабы избежать упрека в излишнем минимализме, я вбил бы гвозди.

ОБЩАЯ ТЕТРАДЬ,
или же ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ СМОГа*

(* Речь идет об обществе московских молодых литераторов и художников, которое образовалось в 1965 году. Расшифровывалось как "Смелость - Мысль Образ - Глубина" или "Самое Молодое Общество Гениев". Спустя полтора года было запрещено. Двое - Николай Недбайло и Владимир Батышев - были высланы в Сибирь, Леонид Губанов направлен в психиатрическую лечебницу, Владимир Алейников исключен из МГУ, остальные тоже так или иначе пострадали.)

Опубликовано в: Юность, 1989, №12.

Посвящается Венедикту Ерофееву

Вот притча о том, как некто, ранимый да ранний, к тому же имеющий уши, - а? слышать? вы шутите, лекарь, клеветы ли мы Selene, чтоб отращивать себе эти устрицы ради Людвиг? лицам нашего круга, числа уши надобны, дабы парить над мраком, над прахом, поверх, извините, вольер - уши, а в клетке скелета лелеющий - что бы вы думали? угадайте, такое певучее, певчее, чистый волчок, нечто, подчас величаемое нутром: чують, чаять и, кажется, петь - что? пока непонятно, не приложить ума, ясно только, что где-то там что-то зреет, возможно, какая-нибудь газелла, лалайя ль, возможно, ее и петь; уж как некто, кому в несусветном гаме да гуле улиц, проулков, пролетов, туннелей и прочих, как говорится, труб, очень, в принципе, медных да яростных, тот, которому в крике да скрежете их иерихонском был зов, был голос, словом, тот самый, - как хорошо он всем певчим нутром своим голос тот слышит, отчетливо сколь. Об этом. Слышит и неотвратимое чует. Об этом. Чует и понимает:

ему, его. Кто бы грезил: об этом. О том, как - порывист - весь прямо движение - сдвиг в иное - во вне так иль эдак, но именно так, как нужно, как надлежит, вероятней всего, что резко, - не правда ли? - резко рванув судьбой точно так же, как в экстренном случае там, где должно, где принято, рвут какую-нибудь отчаянную рукоять, не исключено, что стоп-крана, рвут вздорного рода мосты, векселя, купюры да всякие там еще узы, включая дверные цепочки - цепочки, по-цыгански сказать, - он, поскольку последователен дотла, соответственно поступает и впредь: как требуется, как следует быть. То ли дело и впрямь происходит под стук колес, то ли нет, нету разницы, только не взяв ни сурка, ни курева, что называется, належке, взял да сошел вдруг на первой же шепетовке: шлак, кипяток. Честь имея, метнулся, что называется, прочь, в сплошное ненастье, умалчивая - дабы не в рифму - про ночь. Где бы ни был - оттуда и вон. Вышел, будто необратимый тоттошник из Боткинской, про которого сказано: вышел - и все, повело человека наискось, на ипподром, ибо где же еще, как не в шалмане Бега, воспригубить ему за арабских кобыл, чтоб планида его разлетелась бы аж, благосклонно ослабясь на перекос. Вышел, сошел ли, - словно зашел с козырного нутра, разудел волчок. Вышел, вам говорят, - оглохли? продуйте евстахиевы, был да вышел. И только тогда начинается: все остальное. Тогда. И только. И пусть - в силу чего бы то ни было - лишь бы, - пусть явится эта притча разуму нашему в снах его, да скажется в судьбах круга, числа, да строится в зеркалах наших психей. Да, да, разумеется, о чем разговор, неужели же где-нибудь там, где положено, где надлежит, не сказано: отразится. Ответ однозначен: сказано. Оттого-то и отражается - отразилось, сим: в силу слова. Вот. Правда, несколько незнакомо, ломано, ровно в рябом канале - каналья, зачем ты улыбки нам столь исковеркал, ведь счастье было так коверкотово. Тем не менее видно, как кто-то из этого круга, числа, кто-то в чем-то дорожном, неброском, как бы навыворот, - торопится на трамвай. Лелея келейность. Алеющей ранью. Лепечущей рощи аллея. Се лель есть, влекущийся, к великолепию, простого олейника отпрыск. Воистину. Впрочем, неправда: торопится, но не аллеей, не рошей: торопится пустырями окраин, тропею в разрыв-траве. Ничего не сея, не взращивая, рвет походя блеклые лютики, ноготки. Рвет когти из ненаглядного Криворожья, цитатой из почты окрестных ведьм говоря. Гражданин почтмейстер, вместо того, чтобы попусту рифмоваться с клейстером, заклеямили бы лучше те непотребные речи крутым сургучом. Не смейтесь, папаша, он мертвецов оставляет теперь мертвецам не напрасно, верней, не из прихоти, не потехи для. В данной юности с ним творится особенное. Так, в день осознания лжи у него создалось отчетливое впечатление, будто бульвар спотыкался, дождь шел на изящных пружинах, и фонари по углам разложили фанерные тени. И Дантова тень, в зеркалах отразась - как эхо - давно многократна. Да и вообще, человек сей художник, в значении - поэт, а потому - почему бы ему не отправиться в путь, в другие места, и там не открыться во всех своих впечатлениях, не объясниться в пристрастиях. Странствовать - в частности, на трамваях - тем паче на ранних - это же столь пристало таким вот на вид неброским, небритым, но, в сущности, страшно неистовым, прямо взрывчатым существам. Между прочим не важно ведь, что такие взрываются сдержанно, методом солнц, как ни в чем не бывало. Так в рассуждении пороха даже лучше, ибо хватает надолго. Сравнительно навсегда. Да, кстати, смотрите: деревья ладонями машут: прощанье, исчезновение за. Но что характерно: что из игры - здесь игры Парменидова воображения, расстроенного, как бабушкин клавесин, - им не выйти. Ни им, ни минувшим срокам. Ни им, ни - по буквам: Тифонус - Елена Лена - Елена же - Гея - Рея - Афина - Федра - понятно? - ни телеграфным проволокам плакучим. Ни им, ни дому, который поэт построил двумя штрихами. Где свет погас. Где форточку открыли. Построил и вскоре оставил: быть. И на лбу возникающего экипажа читит долготочающее число. И в том же канале, смекай - кристалле, рябом, но магическом различимо, как кто-то другой, но из тех же вышеозначенных и насквозь же ранимый, хоть до поры хранимый пернатыми горних сфер, - он в рассуждении выйти пройтись, чтоб уже никогда не вернуться, - рвет рану на ранней заре. Неверно, досадная несуразка: не рану, но раму. Но на заре. Оконную раму, но: то ли заклеено, то ли заело, то ль что. Что бы ни. Не играет. Не в этом суть. Не открывається - вот в чем. И все. И поскольку это

именно так, то постольку он просто берет и шагает вышагивает сквозь колкое стекло непосредственно в высь - в эфир - в эти тихие вечера - в жанре - нету его родней - приклатненного городского романса. Не спрашивай же, с чего начинается, ибо знаешь. А знаешь - так заводи, воспевай; хочешь - волком, а хочешь - молчком, волчком. И вышагнул, и воспел, и се: невредим, воспаряет над ерундой обстоятельств, над вздором семейных терзаний, дворовых драм. Этот мальчик растроган. Образами его изъясняясь, он умилен приблизительно в том ключе, в том духе, в котором растроган и умилен Гумилев был на той ли расстрельной заре. В духе прощанья, прощенья, исчезновения за. Пав, встает. И по лестнице, полной чего-то онтологического, или во всяком случае не лишенной его, он восходит. Он мыслит вернуться в свою кубатуру, в обитель, в уютный фамильный склеп. Вернуться и раздобыть по сусекам с пригоршню каких-либо изумительных слов: возвестить свободу парения. Да возвестит. Да возвысит. А восходить еще высоко - на пятый. Но вот и какая-то дверь. Кто там? Ваш искренне. Отворяют. Вернее, не отворяют, а не отворяют. Не. Наверное, не хотят: вероятно, поэтому. Или хотят, но не могут: расслаблены, утомлены. То ли попросту томны. Но так как поэт все стучится, то все-таки отворяют, но не совсем. Отворяют отчасти. Приотворяют, навесив ту самую цепочку. Но поскольку поэтов путь - взрыв да взлом, то что цепочку, что цепочку - он все равно ее, понимаешь, срывает - и там. Где его почему-то не ждали. Там ждали хорошего сына, а заявился не больно-то, а главное, что не свой, свой еще за Можаем, когда еще. Сверху мальчик, соседский. Он сверху-то сверху, да тоже ведь не презент. Рос тихоня, а вырос смогист, колоброд, сладу нету, когда разгуляется, прямо хоть караул. Поэта уничижают, бранят, говорят ему безуханное "вы". Как странно: как к звездам - так непременно чрез тернии. Что за притча. Он жалуется в некую комнату вроде своей и садится за клавиш типа бабушкина. И в тетради для нот, между струн пресловутой Лунной: Полина, полынья моя. А далее - все остальное, все строки. И видно, как вольно им там, в этой общей тетради. Но видно: с комплектом смиренного является караул. Но это не угнетает поэта, это не напрягает его. Потому что Полина уже на крыле, и не на пару ли с кралею, сам в тулупе с заячьего плеча, в новомодном треухе воспарит над препонами Пугачев. То есть все, что случится отныне, - не столь уж и губительно. И ничего, что какого-то мальчика свыше по лестнице, не лишенной не этого, так того, сводят вниз и усаживают в экипаж откровенно трамвайного облика. Ничего не поделаешь, вот: случается. Только случается, чтоб миноваться. Да и случается ли? И в минуту последнего умиления в альбом милосердной сестре: "Настоящая справка выдана певчей Фортуне о том, что ни в чем не повинна, ибо не ведала, что творит: просто пела". И подпись, вплетенная в акrostих памяти Ли Цин-Чжао: Грачи Улетели; Будучи Art Nouvo, Осень Волнительна. А кто-то еще из грядущих сих был по духу не столько порывист, хоть сколько-то и, - сколько бегл и бродяч был, и чтобы от всяческой суеты не клонило в сон, то и дело склонялся к побегу куда глаза и, - склонившись, - в него и срывался. Звездой не звездой, но с цепи как пить. Спросите любого Гончего Пса: Пес знает, чем в юные луны беглого веял последнего след. То веял он, как ни крути, служивой портянкой; то несколько позже - курсантской венгеркой; то - вышел, считай, вчистую студенческой вольной полькой, летучей голландкой, скитальческой немкой Поволжья, блудливой болгаркой, чалдонкой, румынкой ночного дозора, дремучей тунгуской, чухною, непроходимой чудью, чумичкой истопника. След пылко петлял, обрывался. Но жизнь как видение, в качестве фата-морганы блазнилась как ни при чем, точно сама не своя. Не своя, а чужая, нагаданная. И дальними были дороги ее, а дома - и казенны, и скаредны: что ни дом, то вон, а улицы - медные трубы. Да будут, кстати воскликнуть, неладны клаксоны таксомоторов, зловонье омнибусов, бляение менял. Неладны и прокляты. Вы согласны? Лишь в доме блистательно обнищавших духом обрящешь ты благодать. Ибо лишь там тишина настолько матросская, что рябая кобыла, чьи грезы отобразились в язвах наших душ, ржет и шьет себе из нее мировую тельняшку. Но тут ряд змееносных чинов в измерение входит. Эксперты. Ряд пушечных эскулапов, лапчатых и душистых. Будь ласков: почти их вставанием, засвидетельствуй. Они освидетельствуют тебя. Все в белых хламидах, в бурнусах, чины начинают и сразу проигрывают. Ход. Ладно,

положим, кобыла, бывает, но почему тельняшка? Ход. Ибо любая кобыла хотела бы преобразиться в зебру дальнего плавания. Ход. Логично, однако уместно спросить, как же так: ржать, тревожа настолько матросскую тишину? Ход. Но столь же прелестно ответить: не бойтесь, она совершает это бесшумно, прислушайтесь, ни и-го-го, тихо, словно в скотомогильнике. Ход. Сколь образно. Ход. Нет людей, чтоб возле колыбели конских черепов не вспоминали. Ход. Вы не поэт ли? Ход. Аз прост. Ход. Про что-с? Ход. Про то-с, как заря с зарей, ворон с горлицей, град с дождем, а цыганочка с кастаньетами в гуще сандаловой роши доводит до сандаляет: ламца-дрица. Прозет - это, если угодно, бастард, помесь прозаика с лириком, полу-полу. Но то, что он сочиняет, пролаза, - проэзия есть высоких кровей, чистых слез. Слез по сути своей изумления, каковое назвать умилением, в мажоре ли, наизнанку, наружу ль мездрой - невозможно не. Это проэзия незамутненного изумизма здесь, среди мерзостей мира есть. И звенит, заливаясь, заповедь номер раз: "Поющему - изумляй изумляясь". Чу: какая удача, газелла-то вызрела. Не угодно ль. Начну, разумеется, ниоткуда, точнее, наобум, как взрыв. То бишь попросту ни с того ни с сего, с середины. Правда, хотел бы оговориться: грешен. Имею дурную склонность к рифмам. Так что забудьте их мне, не вменяйте, все как-то не волен избавиться, отвертеться. Однако ведь отверчусь же, избавлюсь. В долине реки Цинандали Дали живописет сюжет: из псевдоклассической дали струится изысканный свет, и, весь преломляясь в рояли, Вертинский роняет куплет. Ход. Чудно, милый, вы явно у нас молодцом: освежили, окрепли. Вам хорошо. Вы чувствуете себя в пределах положенного. Как должно. Нормально до изумления. Вольно, считайте себя резервистом. Счастливого лета, паренья, лелейте устрицы. Выйдя, следует повернуть за угол, где дует, и, делая вид, будто это не ты, а некто, тебе почти незнакомый, пусть тоже в шинели, в ушанке, с ушами, метущими персть, прошествовать мимо Дантовой лужи со вмерзшей по горло баклагой. По горло, которое на ветру дойну Сен-Санса сифонит. А в кассе чертова колеса, не смущаясь, что та заколочена, позабыта, заплевана, да и вообще - не сезон, надо взять да и подарить себе на прощанье билет на трамвай, идущий куда-нибудь. Закатиться бы, сударь, на двадцать третий иероглиф: где хорошо. Например, в Хорошево, в бор, в пенаты серебряной молодежи. Короче - прочь. Это будет трамвай гумилевского толка; вагон, ударившийся в бега; экипаж, насвистывающий на ходу грибоедовский вальс пополам с каким-то персидским мотивом. Экспресс подают. Тыходишь. А все остальные - они уже там как там. И тогда начинается все остальное. Особенно - ваше время. Поздравь себя с ним, обернувшись; не оттого ль исцелиться от оного не дано никаким иным, что оно бесподобно. Оно подобало вам, подходило, шло. Вашему кругу, исчисленному на перстах числу, было оно сколь кстати, столь и под стать: было певчим. И голубы руки его мольбертов зам были. И над трамваем присущей ему современности, резко сорвавшимся в лебединый запев - в смелость - в мысль в образ - и, разумеется, в глубину, - реял манифест изумизма. Ваганьково следующая, вещал кондуктор. Но вы не страшились. Ты помнишь? Героем был всяк. Но когда бы числу предстояло отчислить профиль на мемориальный металл, лично ты отчеканил бы лик живописца. Тот ехал от Верхней Масловки, всею сутью и всей атрибутикой - от бороды до кистей - ошестинившись против догм. Даже имя его глядело неодобрительно, исподлобья, сугубо недбайло. Что же касалось картин, их развесили накануне в читальном приюте, куда вы так мчались, дабы начать. Вам было пора - порывисто - вас ждали столь издавна. Вожатый, je ne joue pas* (* Я не играю, фр.): Беговая; остановите сейчас вагон. Да, это она, твоя пожилая улица, ждущая ежедневно без выходных, тихо фонариками кирными маня. Это - ранняя родина, неминуемый сосуд. Чаша? Кубок? Пустое. Простое копытце, след бега во все те концы, где начала, след, памяти полный об испытаниях отрочества рысистых, о бегствах откуда бы и куда бы ни - лишь бы о беге во имя бега, о побегушках амурных, горелках жарких и негасимых. А после, сорвавшись с орбиты Бегов, ты бежал по делам поколенья. Дела были трубы, звенящая медь, не Сачмо, не Диззи, не Паркер, но тоже ведь смачно, и для культурного парка, для Пешков-стрит - лучше некуда. Чуял, чаял, и в звуках той монголоидной му - голос ты различил, тебя звавший. И голос сказал тебе так, как про

подобное только и следует. Он заявил тебе тихо, вернее, безмолвно. Он сообщил тебе вот что. А впрочем, что нужды: неважно, что именно; что сказал, то сказал. Что надо, - то молвил. Одними губами. Губами, и все. И баста. Рек, молвил, а ты, лелеющий певчее, чуешь, что вот оно, самое что ни на есть, то самое, когда уже более некуда, ибо больше уже нельзя, невозможно, нет смысла, ведь далее только мрак того же туннеля, бред той же трубы, приехали. Кондуктор, рваните вашу бикфордову бечеву - да откроется нам. И не далее как февраля отрывного числа - числом своим взрывчатым - честь имели. Мело. Гололедило. И с какою-то легкостью, щегольски, беззаботно, как Боткин бы будто - цитаты из Цицерона и Тацита, улица имени терапевта роняла прохожих и перспективы. Но, млад да ранен, ты всем твоим певчим - всем волчьим - всем беговым чуял близкое поперек и вдоль. И далекое. И неизбежное тож. Евое, с трамвая за номером двадцать три сойдя, ты выдвинулся в иное, вернулся к себе, человеку привычному, своему. И поскольку число отрывное было скромнее трамвайного, а взрывчатое - и того скромней, то сомнений не оставалось: лишь оставалось начать. Начать и только. Причем почти ни с того ни с сего, с середины. В середине шестидесятых - из самого их средостенья, из чрева их, из нутра - заговорить человеческим голосом, наговорить откровений, притч. Только спокойно. Без нервов. В манере далеких солнц: так, будто бы ничего не случилось. Чу: нормальной прозой. Нормального изумизма. Короче, взорваться, милостивый государь, взорваться.

ЗНАК ОЗАРЕНИЯ

Попытка сюжетной прозы

Опубликовано в: Октябрь, 1991, №2.

Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая.

Б. Пастернак. Охранная грамота

Завязка. Один человек, не лишенный известных амбиций, а может, и совершенств, но в дальнейшем именуемый просто ты, - ты обнаруживаешь, что напрасен. Немало смятен, и пытаешься хоть несколько объясниться, верней, уяснить себе, как же так, ты изнуряешь язык твоими словами уныния перебираешь их гроздь - снаряжаешь рой. Ты молвишь: напрасен - ненужен негоден. И мыслишь: обманут по части перспектив, упований, причем, что особенно глупо, неясно кем. Впрочем, если употребить умозрение в вящей мере, то, разумеется, ясно. Ведь стоит немного прищурить рассудок, насупить ли ум, как сразу черты нереченного образа делаются отчетливой, четче, существование оно более не нуждается в доказательствах, ибо становится аксиомой. А заметят, что это все якобы вздор или призрак, то возрази, говоря. Если ты одинок, неустроен, горестен и кто-то тебе подставляет щеку, дабы прильнул ты к ней, если хочешь, своей, и приблизительно так вот - вот так - как заведено в лучших салонах мелонги - щека к щеке - коротал бы сам-друг пляс ли, сплин - то не имеет значения, призрак это или не призрак, тем паче, что речь тут об образе крайне близком, ближайшем. Другое дело, что вы еще, может быть, не представлены, не знакомы формально. Тогда познакомьтесь: один человек, не лишенный известных амбиций, - Судьба такового; она же участь и Мойра. Подумать, самая что ни на есть. Только не приступай к ней с расспросами, не нависай, теребя на предмет откровения, отчего, мол, она позволяет себе бестактности, едкости, злые ухмылки. Не надо. Будь выше. В смысле - смиренней. А что касается утешения, отыщи его в чем-либо отвлеченном, в какой-нибудь мозговой разминке вроде устного счета. Или воспоминаний. Известно, что если прошлое обременяет, гнетет, причиняет недуг ностальгии, сворачивает душу в бараний рог, то следует поставить его вне закона так называемой Мнемозины: забыть. Но прежде необходимо вспомнить, что представляет собой это прошлое, из чего состоит, вспомнить, как именно было дело. Не исключено, что это поможет, и степень смятения твоего прищуренного рассудка не будет больше такой высокой. Сколь можно судить по раскладу событий, полету стай, форме луж и амеб в них, однажды в пиру словоблудов, прилежных и записных, чьи галстуки полюбили бриллиантовые заколки, однако в последнее время отведали общепитовских щей, речь как раз и зашла о превратностях такового. И ты, который по роду труда и тревог причастен был к

этому кругу и пиру, заговорил горячась. Что вы, дескать, все цацкаетесь там с вашим временем, собственно говоря, тоже еще нашли категорию. Мало того, что оно есть гребная галера, орудье наживы и рабства. Вдобавок оно не обладает должным изяществом форм. И потом, есть в нем некая фельетонная пошлость, сиюминутность, как в наших творениях. И говорил. Неужели оно вас не огорчает. Смотрите, если взять и сравнить его с той же вечностью, то получится полный конфуз. Ибо время настолько же непрезентабельнее последней, насколько реальность невзрачней искусства. Тебе оппонировали. Послышались выраженья: мальчишество, нищезанство, элементарное неуважение к жизни. Что жизнь, возражал ты собразникам. Этот способ существования тел есть не более нежели случай для мастера явить мастерство. А точнее, много случаев, в том числе немало несчастных - вдребезги - как Пьеро. Ты забываешься, говорили тебе, разве можно людей обзывать телами, в иные дни за подобные оскорбления приглашали на казнь. Или просто кидали в вольер ко льву. Ведь люди - это все мы, а мы суть наше единственное достоянье, и ты - не один ли из нас. Из вас, ты ответил. И вместе с вами - на благо любезного человечества - работаю густопсовую борзопись. Bravo. Но как утверждал наиболее озаренный лирик, есть, знаете ли, искусство. Помимо и вопреки. И это - совсем не то, что вы думаете. Это - иное. И есть мастера. И я бы хотел быть с ними, ибо они изображают людей лишь затем, чтобы примерить на них погоду, а на погоду страсть. И в таком любомудрии нет ничего обидного. Ни для кого. Ибо искусство тем и отменно, что отменяет логики: идео-, физио-, пато-, и тем и заветно, - кавычки открыты, - что интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается, - больше человека, - закрыть. Но закрыть кавычки - не значит остановить развитие идеи, поскольку подспудный побег ее прорастает асфальт нашей косности бескомпромиссно, безудержно, без. Не стоит ломиться в отверстые двери насчет того, что и образ какой-нибудь араукарии, банданеллы или викуньи больше данных предметов как таковых, если только они действительно местоимеют. Если же нет - то не стоит тем паче. Достаточно просто заметить, что хоть человек человеку рознь, всяк из нас, пусть субъектов вполне захолустных, являет собой осколок чего-то нечеловеческого. И отзывается им. И мерцает - когда мерцается - во славу его. И звенит. И коль скоро образы наши больше, а по нашем перемещении в лучший мир - чище и лучше нас, облеченных в не слишком уклюжую плоть, то вот тут и выходит. Искусство, которое сплошь состоит из отдельных образов, которыми бредит и манит, кричит и молчит, - оно несравненно огромное и прекрасней всех нас целокупно взятых: оно - наше светило есть. И буквально все мы вращаемся вокруг него, полагая наивно, что вовсе нет. Что это оно, искусство, вращается вокруг нас. И что стоит нам захотеть, и мы будем такими же. Как оно. АН не будем. Нам бы лишь успевать вращаться. Цейтнот, цугцванг. Проливная нехватка времени, истинный дефицит циферблата. И резюмировал. Что говорить, время у нас - главбух, главбог, поганое идолище. Каковое, позируя мастеру, - дальше в кавычках - может вообразить, будто поднимает его до своего преходящего величия. Кавычки замкнуть. Экая наглость, однако. Знак восклицанья: восклик. А собразники рассуждали: нет, нет. И говорили: о, нет. Они говорили так, потому что считали, что время - их время - шито отнюдь не лыком, и ты не имеешь права унижать его в их присутствии. И вообще, мол, откуда в тебе такое отчаяние. Ты отвечал им цитатой. Не столько начитан, сколько наслышан, ты не ручался за точность очередного заимствования и поэтому раскавычил его, расковал, раскупорил и дополнил своими соображениями. Получилась длинная фраза про то, что имеется круг явлений, вызывающих самоубийства, особенно в отрочестве, и что есть круг ошибок младенческого воображения, извращений, юношеских голодовок, круг Крейцеровых сонат, пишущихся против Крейцерозых сонат, и что есть, наконец, - ты приблизился к сути проблемы, - есть круг замалчивания и забвения самого озаренного лирика века, поэта истинного экстаза, и некоторые из присутствующих обретались в этом кругу непростительно долго, иначе они бы не спрашивали: откуда - вопрос - и не говорили б: отчаянье. Ты кипятился, но был по-хорошему риторичен, и речь твоя - благодарение логопедам - звучала довольно членораздельно. Кто мог бы тут заподозрить, что на задворках детства приятели звали тебя

Шепелявым. Звали - а ты отзывался. Однако не потому, что тебе так уж нравилась эта кличка или что ты прочитал сочиненье Сенеки о том, что мудрец невосприимчив к несправедливости и унижению, а потому, что уже с гадких лет был отзывчив, был справедлив, объективен. И так как данное прозвище соответствовало положению дел, а конкретнее: положению языка относительно нёба и губ, не говоря о зубах, даже не заикаясь о них, ибо обычно, львиную долю дней, те числились в нетях, - то злоба не накапливалась на сердце твоём, принцип оказывался насущнее горечи, он довлел. Но с тех же лепечущих лет - справедливости ж ради - ты начал и сам называть и людей, и вещи достойными их именами. Сам. Не упуская ни повода. Вот и теперь. Фарисеи, заметил ты оппонентам. Противник дрогнул. Чтоб закрепить успех, срочно требовалось проиллюстрировать мысль соответствующей цитатой; неточность: стаей цитат, целой стаей. Но именно тут выясняется, что цитаты все вышли - и выбежал вон, дабы пополнить запас их в хранилище мудрости, то бишь в библиотеке, каковая - в нее по пути - отчего-то все мнилась ветхозаветной, с ударением на о, и где - в силу сумерек, что - так говорилось на произвольной странице необходимого тома - были, - снова кавычки - словно оруженосцы роз, - кавычки - против чего ты несколько не возражал, ибо сумерки суть бесспорно, суть истинно оруженосцы роз, - где - в их силу - можно было в два счета ослепнуть и обратиться: к гекзаметру, окулисту или в летучих гадин. И поскольку библиотекарь посетовал, что, мол, пробки пере-, а свечи вы-, стало ясно, что корень зла извлечен, изыскан: он равен корню словесному гор-. Но даже и взятый отдельно, гор- не горит и не светит. Тогда - в силу обыкновенной необходимости, которая, если что, пересиливает и полную тьму, - перелистывать ты продолжал. Поясни: перелистывать книгу. И перелистывая ее, обратил внимание на строки, которых прежде не замечал. Причина: их строй по сравнению со строем прочих - был редкостно прост. Они были кратки, и при порядочном освещении не смотрелись. Следствие: не замечал, читая. А тут, в полумгле, скромность их процвела, просияла, и ты озарился; не правда ли. Впрочем, без ажитации. Потому что зачем же, ведь не впервой. Что же касается содержания строк, то оказывалось, что кто-то кого-то любил, уезжал на Урал, презирал все нетворческое, сознавал себя полной бездарностью, становился охотником, возвращался в столицу. Вдобавок благоухала сирень, лето обещало быть жарким, кончался сентябрь, близился обеденный час, двигались и умозаключали краски, искусство называлось трагедией, трагедия называлась именем автора-футуриста, а из-за черной реки являлся его закадычник. А в вашем общем любимом городе было как встарь: трепетали огни, его засыпало снегом, и ничуть не герои - обычные служащие, покашливая и сморкаясь в платки, пощелкивали на счетах, похрустывали суставами и составами лязгали на путях. И ты озарился сиянием синтаксической скромности, как когда-то создатель строк, возвратившись в огромность и грусть жилья, озарился огнями улиц. А надо сказать, это был тот самый род озаренья, когда озаряемый озаряется изнутри, невечерним внутренним светом, и делается как бы светильником, правда, не всякому явным, поскольку свет, наполняющий очи его, очевиден только ему и другим озаренным, и только он и они могут видеть при этом свете в ночи и видят, чего не видели днем. Короче, ты был как фонарщик, о ком говорят: блажен фонарщик, следующий заповеди отцов: фонарщику: гори сам, гори ясно. И озарившись - читал. И в ночи, что затмила оруженосцев роз, обнаружил, читая, то самое. Что напрасен. Зане живешь не своей, но чужою жизнью. Завязка, завязка, изображение смятенья. Дескать, немало смятен, и, пытаюсь хоть несколько объясниться, верней, уяснить себе суть случившегося, ты изнуряешь язык твой словами уныния, их перебором, выстраиваешь их ряд. Ты молвишь: напрасен - ненужен негоден. Ты шепчешь: невзыскан - никчем - нечаян. И мыслишь. Смешно и кромешно. Годами быть почитателем лирика, прилежно и часто его перелистывать, полагать, что едва не все пребывают в кругу замалчивания его и забвенья, почитывая каких-то не тех: нечутких да смутных, муторных да смурых. И все это для того, чтоб однажды, взглянув на его труды невечерним взглядом, понять, что и ты - по крайности временами - обретаешься в том же кругу, сам же почитаешь нечутких. Ибо если бы это было не так, ты бы жил и мечтал по-иному, не путая свои воображаемые тексты с текстами

самого озаренного, точнее, не питая амбиций своими варьяциями на темы его, и уж во всяком случае не выдавал эти варьяции самому себе за оригинальные сочинения. И ты бы не выдавал желаемое за факт, не уверял себя, будто знаком был с поэтом лично, и что еще немного - и ты набросаешь о нем мемуары на том основании, что вы оба заходили в некий дом на Остоженке, и оба же - вот совпадение - иногда. Ты бы не. Ибо последний раз он зашел туда до твоего рождения. Нет, ты не был знаком с поэтом. Но в некоторые из дней случай сводил тебя с некоторыми из тех, кто - без сомнения - знал его. Справедливо: никто из них не промолвил об этом ни звука. Что было естественно, потому что ты не просил их тебе о нем рассказать. Сказать как отрезать, ты не просил у них ничего: совсем, Ты не обращался к ЕИМ совершенно. Но не из гордости лишь, не затем единственно, чтоб они не имели каких-либо оснований думать, что ты - в отличие от них - не представлен, не вхож, а еще потому, что не знал их тоже. Ведь случай сводил вас на взмах ресниц - на улице - в качестве встречных прохожих или в пролетке ближнего следования, где заговаривать с посторонними чуть ли не моветон, да и слякотно, блекло. Но если это и вправду так, если встречи те, что есть, оказывались столь кратки, что встреченные почти не отличались от встречных и были немотны, то как же можно было понять, что они знают самого озаренного лирика. Вопросительный знак. Даже два. Так при разборе шахматной партии помечается очень слабый ход. Отличие только в том, что тут ход не слабый, а сильный, поскольку вопрос правомерен: как можно. Ответ исчерпывающ. Он блестящ. Очень просто. По лицам. Порядочный физиономист отличает чело человека, лично знавшего поэта экстаза, от чела человека, его не знавшего, - без проблем. Ты всегда был порядочным физиономистом; и совокупность благоприобретенных черт, свойственную челу человека знавшего, называют в размышленьях печатью причастности. Ты дал и другой, синонимический термин: знак озаренья. Но что же сулили тебе те встречи, то знание знавших, но замкнутых и мимолетных. Вопрос. Ничего. Ровным счетом. Восклик. Они, их молчанье могли пригодиться в одном только случае. В случае, если бы ты решился писать мемуары о том, как ты не встречал озаренного, о ваших невстречах: воспоминания о непричастности, о незнании. Причем начать следовало бы самым определенным образом. Нужно было бы сразу признаться, что ты не знал его очень долго. И чтобы ни у кого не возникало сомнения, уточнить; дать жесткие сроки незнания; датировать этот провал; заявить, сознавая ответственность перед историей: самого озаренного лирика века я не знал никогда. Например, всю жизнь. И сделав такое признание, было бы совершенно естественно описать ее: жизнь без поэта экстаза, без личной взаимоприязни, взаимучастия в участях, без совместных прогулок, без дружеской критики, без поздравлений, без пожеланий то славного сна, то года, то просто всего. Без. Особые главы составило бы описание лет, когда ты даже не подозревал, что существуешь в его эпоху, в его измереньи. Как, впрочем, и в чьем бы то ни. Затем - годы именно подозрений, догадок, что все это измеренье придумано неспроста, не напрасно, что есть тут где-то неподалеку эпоха, она дана, и что в ней, у нее должен быть кто-нибудь экстатичней, пронзительней и озаренней, чем все остальные лирики. И что, хотя остальные имеются налицо, а его как бы нет как нет, это лишь потому, что это только пока, до срока. А после предстояло бы рассказать, при каких обстоятельствах ты впервые прочел его лирику. Но поелику ты, вероятно, не помнишь тех обстоятельств, что совершенно естественно для лица, пребывающего в кругу забвения лирика, - то пришлось бы прищурить рассудок сызнова. Или насупить ум. Признаться, в отличие от коллеги Кольриджа, ты не настаиваешь на различии этих понятий, не противопоставляешь их. Ум, разум, рассудок: что в лоб, что по лбу. Насупить, прищурить и следом немедленно разветвить молнию гипотетической мысли. И снарядить рой гипотез. И рассмотреть их. Одна из. Покупка каких-либо ягод, плодов. Вкус ягод, их цвет, машинальное чтение текста, опубликованного на кульке. Неточность. Не на кульке. На журнальной странице, из коей торговка свернула кулек. Неважно. Довольно придинок. Текст, опубликованный на кульке, стихотворен, это - лирика лирика. Ты зачитался, забылся. И ягоды сыплются из кулька. Восклик. Никогда ничего подобного. Не. Как выражается юность апокалипсиса, ты тащился. Но не с сумой, а душою - за строем

созвучий - за красками страсти. Другая гипотеза отзывалась бы хмурым казенным эхом. Сокамерник, злостный курильщик, сворачивал самокрутки из человеческих писем, читай - из посланий с воли. Однажды его увели на допрос посреди перекура, и, созерцая угасший его чинарь, ты обнаружил на нем поэму за подписью незнакомого лирика, переписанную чьей-то вольной рукой. Чьей - осталось неясным, так как сокамерник не возвратился. Ни за окурком. Ни за другими вещами. Он не вернулся в принципе. Не возвратился вообще. И когда ты спросил охрану, когда же он, наконец, возвратится, охрана ответила: никогда. И когда никогда наступило, ты взял и выучил те стихи наизусть: на долгую память. И докурил его козью ножку: за упокой. Помогло ль, упокоилась ли душа его. Знак вопроса. Поди пойми. Но твоя с той поры - тащилась - влеклась - влачилась за теми строчками и за другими - того же поэта, разысканными после на воле, в келейных углах. И рассмотрел бы иные гипотезы; однако из всех выбрал бы, видимо, самую натуральную. Именно здесь пригодилось бы знание, в смысле незнание, неведение знавших. Но замкнутых. Но мимолетных. Представив их в полный рост, в полной мере - в качестве пешеходов и пассажиров, знаком отмеченных озарения, или печатью причастности, ты мемуары о собственной непричастности продолжал бы следующими речами. Да, люди молчали, но наступили дни, когда вестью о нем и его стихами - стихия прониклась. Стихия всего измеренья. По сути оно было попросту ими пронизано, напоено, и не чувствовать этого и не слышать, что сказано данным лириком, самым пронзительным и лиричным, мог, казалось бы, только убогий, и то лишь - от небытия. Очнуться - восстать из бестрепетных - отречься от беженства в быт от блаженства сует - увлечься хоть некоторым искусством, пусть невпопад вот, пожалуй, и все, что требовалось, дабы проникнуться тоже. И ты очнулся. Восстал. Отрекся. И в беспощадном полюдьи - в несчастье и ликование - в задрипанности и чистоплюйстве - повлекся душою за строем созвучий, за красками страсти. А лирик в те сроки прятался от молвы под городом и, бродя - тут, увы, предстоят кавычки, их надо открыть по причине положенности - по кошачьим следам и по лисьим, по кошачьим и лисьим следам, - кавычки закрыть - бродя, полагал свое место бедственным. Даже и ныне, при свете его простоты, жалобы мастера тебе не вполне понятны. Ты склонен усматривать в них некоторое лукавство. Неужто он в самом деле не знал, что поэту подобного ранга бедам подлежать не положено. Во всяком случае - не надлежит. Он должен быть выше их по определению. А вернее, в силу определений творчества, ремесла и души, данным им же самим летом семнадцатого. В конце концов, он может, если захочет, пресечь наступление зла точно так же, как гумилевский мальчик останавливал дождь: словом. Причем, вероятно, любым, взятым прямо из воздуха: словом кошачьим иль лисьим, птичьим иль песьим, чеховским или шекспировым. Правда, последнее требует перевода, который - по мысли поэта - должен давать впечатление жизни, а не словесности. Что ж, переводы учителя именно таковы, и ты впечатляешься и Шекспиром его, и Шиллером. Но не настолько, чтоб хоть на окуроч зари не нуждаться в нем собственно, в нем своем: довоенном и дачном, в дождевике, веющем паклей и керосином. Влюбленность наличествовала, и чтоб обнаружить ревность, не требовалось и оглядки. Но как и положено в литературных мечтаниях, ревность глядела размытой и анемичной, как жертва импрессиониста. Ибо неясно было, к чему она, или, вернее, к кому: к лирику, Музе или к обоим сразу. И было еще нетерпенье. И часто оно возгоралось. Парадоксально: известия типа тех, что написаны Вертер и Валерик, Серебряный Голубь и Золотой Осел, Отелло и Лалла-Рук, нетерпения не вызывали. Оно возгоралось от новостей гораздо более скромных. К примеру, о том, что кого-то там мало, и есть вероятность, что число этих лиц составляет три; а на террасе спят дети; а под дождем все кипят их любимые тополя; что сначала мерещилось, будто кусты неких чащ перевиты плющом, а потом оказалось хмелем; а сеновал ностальгически пах винной пробкой. Ведь дело было не столько в фактической стороне новостей, сколько в том, что - по мере вещанья - испытывал вестник. Испытывал и сообщал. Он испытывал озаренье. Но полагать, будто он сообщал и о нем, помещая его тем самым в разряд известий, не надо. Он сообщал не о нем, а его самое, в качестве необычайного чувства, чистого, как у цыган и цыганок. И ты оживлялся этой эмоцией, и это она возжигала

в тебе нетерпение. Если перевести твои обстоятельства в плоскость листа и представить тебя в виде текста, оттиснутого на нем, то можно заметить, что прежде оно опаляло поля - слева, у строчных, и справа, у рифм, а потом прожигало середину твою, средостенье со всеми его цензурами. И занималась вся плоскость. И словно бы легкие у курильщиков, зеленели буквы твои. И сгорал. Так в обмен на исчезновение обретался покой. Но когда возникал ты на новом листе, нетерпение возвращалось. Тебе нетерпелось каким-нибудь образом стать таким же пронзительным и экстатичным, как лирик из Книги О Непричастности, дабы путем письма сообщать необычайное чувство. Его недостаток в обществе остр, вопиющ. Судя по лицам альбомов и улиц, лиц, озаренных истинно, то есть природно, к несчастью, почти что несть. Тебе нетерпелось. Цель выявлена. Она благородна. Посредством простого стила взять и снова напомнить миру о позабытой эмоции, научить его ей, как песне. И тем-то его заодно и спасти. Нетерпелось. Тревожил только вопрос о даре. Тревожил и отрезвлял. Достанет ли. Вопросительный знак. Хватит ли сил озариться настолько неистово, пламенно, чтобы эмоция сообщила количеству лиц, достаточному по любому счету: всем, кто жив, всему измерению. Знак вопроса. Речь - пернатое самых почтовых качеств: куда ни отправь, непременно вернется в пенаты ума, на насесты мысли, в ущелье уст. О голубка твоя, забот о ней полон рот. Перифраз: от словесности, от голубки и шепелявой, и дряхлой, нет спасу. Прием повтора: вопрос и тревожил, и отрезвлял: достанет ли дара души, дара речи. Знак. Вопросы. Ответ был довольно дежурен, однако столетней выдержки, из почтенного новоанглийского вертограда. Цитату начать. Не знаем, как велики мы: Откликнувшись на зов, Могли бы мы восстать из тьмы До самых облаков. Цитату закончить. Сюжет развить. Мысль, бьющаяся в оковах незримых кавычек, казалась тем более верной, что представлялась знакомой. Цитата, имевшая силу рецепта с пометой "цит", перекликалась со строфою немецкого лирика Рильке в интерпретации лирика русского; сей видел его, между прочим, в поезде, когда германец паломничал в Ясную. Помнишь ли, сколь незабываемо это было, насколько девятисто, каникулярно. Настолько, что Рильке в то утро надел тирольскую разлетаюку. Цитата. Как мелки с жизнью наши споры, Как крупно то, что против нас. Когда б мы поддались напору Стихии, ищущей простора, Мы выросли бы во сто раз. Стоп цитата. Тебе нетерпелось тем пуще, что мыслимое имело возможность осуществиться, будущность обещала быть, следовало лишь поддаться, откликнуться. И, конечно, использовать опыт предшественников, в частности, опыт самовнушения, самогипноза. Ведь прежде, нежели в художника поверят ценители, он должен сам поверить в себя. Но и на этом пути есть опасность. Вот: сколько их было, напористых, яснооких, вполне утвердившихся в частном мнении, что они-то и есть те самые тинторетто, сибелиусы, мао-дуни, которых тут столь заждались, так заждались. Естественно, это стоило им титанических экзерсисов. Но цель окупала все средства, все серые вещества. Тем досаднее, что большинство талантов закончило как-то латенно, квелю. Вот почему так ценен совет врачей-вялологов: пилюли от вялости требуйте у любого аптекаря. А меж тем терапевт из стихов твоего учителя о несчастной любви, каковая является сортом вялости, - рекомендует душ и гимнастику. Можно также лечиться голодом, холодом. Можно смертью. Клинической или простой. Чудодейственно, батенька, истинное воскресенье. Но это - потом, на досуге. А ныне - ныне лучше не умствовать: но творить, совершать поступки. Тебе нетерпелось. Ты чаял духовного преображенья. Взяв озаренного лирика за идеал творца, в него-то как раз ты и мыслил преобразиться, то есть войти в его положение, в роль, встать на место его, пусть даже и вправду бедственное: не привыкать. Только не надо бы мимикрировать, есть в этой практике нечто ползучее, рабье. Не надо, достаточно просто вообразить, будто он и ты - суть не то чтоб одно и то же лицо - о нет, подобное противоречило бы здравому смыслу, - а впрочем, в известной мере - в той мере, в которой сие возможно и допустимо правилами хорошего тона, - при некоторых ухищрениях и опущениях - даже вот и одно. Ибо что же. Вопрос. Нельзя ж постоянно печься о здравом смысле, дрожать над ним и кудахтать. При чем тут, ей-богу, смысл, если дело идет о таком высоком безумии, как искусство, которое есть пожизненная попытка мастера увериться в существовании жизни, напрасная, но прекрасная. Да, пусть

даже одно. Пусть все что угодно. Лишь бы откликнуться и поддаться. А если грянет вопрос ребром: быть таким же, как лирик, или не быть, - то ответ прозвучит гениально в своей небывалости: быть и не быть. Одновременно. То есть будучи как бы ему подобным и осмыслив и полюбив бытие учителя, как свое, оставаться не кем иным, как собою. Но оставаться так, чтобы - по слову его - некое совершеннейшее - кавычки - я - это ты - кавычки закрыть связывало вас всеми мыслимыми на свете узами. Тебе нетерпелось. Тогда ты откликнулся и поддался. Вхождение в роль упростилось за счет биографических совпадений, пусть и частичных. Неважно, пусть, чего там считается, талантам подобного толка не свойственна щепетильность. Конечно, случались порывы слабости, налетали летучие мыши сомнения, но с верою во взаимность Вселенной их наподобие бабочек ночи по кличке "мертвая голова" следовало однозначно гнать, обрывать забвенью. Лишь бы откликнуться. Только б поддаться. Пусть не было у тебя до тех пор ни школы ваяния, ни ВХУТЕМАСа, и где и когда бы ни нанималась дача, во сколько б она ни вставала, соседом вашим ни разу не оказался Скрябин. Зато приглашала школа морзянки, маячил кружок джиу-джитсу, манило училище кролиководства. А Скрябина в качестве дачного компаньона ряд лет компенсировал отставной капельмейстер, что подшофе присваивал себе звание подпоручика подстоличья. И если у композитора русская тяга к чрезвычайности проявлялась в исканиях сверхчеловека, то капельмейстер был чрезвычайно бывал, исключительно балагур, изумительно бодр, баловался болотной охотой, холодной телятиной, и среди светозарных его приветствий сквозь перепончатый лай слышались: добрая утка, утка бодрая, бодрый же день, а на сон грядущий желал он спокойной ноты. Но нот ты не знал, слух твой выдался абсолютно немзыкален, и ночи твои оборачивались не ноктюрнами, но натюрмортами мрака и немоты, но речами без слов, ибо их еще не было у тебя, потому что будущее еще не настало. И немзыкальными были пальцы твои, ни волосы, ни глаза, ни лоб, и если бы композитор Скрябин все-таки оказался соседом, ты не сумел бы сыграть ему ничего - ни собственного, ни чужого, и ни на каком инструменте: ни на-ни-на. И в итоге хвалить тебя композитору было бы не за что. Разве что просто так, по-приятельски, из чисто человеческих соображений: за такт, за элементарное добрососедство. Мол, лето уже на исходе, а между тем вы не причинили мне никаких беспокойств, не сказали ни колкости, я, безусловно, благодарю вас, вы добрый содачник. Но сколь снисходительно, но какую подачкой звучала б подобная похвала. Нет, если на то пошло, то уж пусть капельмейстер, тот, право же, ободрительнее. И был капельмейстер. И он являлся соседом по даче. И все. А композитора в этом качестве не случилось. Зато композитором слыл один из соседей в городе, не виданный никем нелюдим, что - по непроверенным слухам - все жил этажами выше и был по-бетховенски глух, что - по слухам же - совершенно не отражалось на творчестве, потому, что он был композитором не обычным, а необычным, из тех набычившихся маньяков, чьи лбы и этюды чреватые убийствами августейших и умыканием их коней и слонов, чьи морды не терпят уподобить противогазам. Особенно в сновиденьях. Особенно о войне зоопарков. Типичный цейлонец, ты на ветру Европы схватил африканский насморк. Тебе заложило хобот: его не продуть. Как грустно. И стоя с открытым ртом посреди вольера, негромко дремлешь. И тут начинается. Белые у ворот. И поскольку ты черен, как лебеди на пруду, надо придумать защиту. Цейтнот, цугцванг. И в знак уваженья к соседу сверху ты изобретаешь староиндийскую: ведь говорят, этот шахматный композитор немолод. И ничего, что, по более точным сведениям, он скорее был шашечным композитором, а по сведениям точным вполне - старым карточным шулером. Ничего, бывает: главное, что он был композитором в принципе, комбинатором в корне. И не за это ли ты прощал ему единственный недостаток его: недостаток присутствия в поле зрения, а вернее, хроническое отсутствие там, объективное небытие. Нет, все-таки не за это. А потому, что и ты был ущербен на свой манер: тебе не с чем было ходить к композитору: ты не имел соответствующих композиций. Что же касалось Скрябина в качестве не человека, а только фамилии человека, то тут не совпало. В том смысле, что ты не знал никого, кто носил бы такое имя. Не знал, но хотел бы. Стремился найти. Вел умозрительный поиск. Чайл.

Отсутствие имени Скрябин в твоём кругозоре указывало на его присутствие вне. И поскольку жизнь, как ни бейся, а все театр, имя это могло быть значащим. Словно у Грибоедова. Вполне вероятно, что драма творится не далее как на Моховой, и вся ирония драматурга пошла на то, что фамилию композитора носит консерваторский дворник. Покладист, с окладистой бородой, с неплохим окладом, он регулярно счищает наледь и с тротуаров, и с мостовой. Слегка вечереет. Скребешь - вопросительный знак окликает работника созерцательный персонаж, вольноопределяющийся неудачник из скрипачей. Скребу, соглашается дворник. И вежливо добавляет: скребком-с. Что ж, скреби, говорит скрипач, зря ты, что ли, у нас тут Скрябин. И, вскрыв футляр, изымает скрипку. Настраивает. Отчетливо вечереет. Занавес. Полный успех. Одевшись, зритель покидает фойе и выходит на Моховую, мохнатую, всю в мехах. Вечер подан. Сюжет развивается окончательно. На фоне Чайковского дворник с бляхою на груди: дворник Скрябин - скребет тротуар, а изгнанный из заведений скрипач-неудачник увечит Поэму Экстаза. А если все это и не так, думал ты, если фамилию Скрябин не носит даже консерваторский дворник, то вот уже наступили дни, когда появился некто по имени Оскар Рабин, и это созвучие можно было употребить взамен, тем паче что Рабин тоже: селился в дачных местах; тоже уехал потом в Европу; тоже надолго, и равным же образом имел отношение к искусствам. Он был художник, и все говорили друг другу: вы видели его Лианозовские Бараки. Вопрос. А Сельдь-на-Газете. Вопрос. Как выпукло. Экий глаз. Он создал целое направление. А между тем - пропитания ради - Рабин тоже работал то ли скребком, то ли сторожем. Много было их по России, Платоновых, рабиных: сторожили, скребли. И ими - ими ведь тоже стихия всего измеренья прониклась, стихия эпохи. И ты. Ты проникся откликнулся - ты поддался - предался Орфею, гармонии. Ты заиграл взახлеб. И много случилось других совпадений. Ибо игра в любимого лирика - разве она могла бы без них продолжаться. Пустое. И чтобы не ждать подачек от Мойры, тебе приходилось заботиться о совпадениях самому, но, естественно, так: чтоб твое участие было не слишком заметно, в первую голову - зренью ума твоего, называемому умозреньем. Иначе ты получил бы все основания обвинить себя в определенной нечестности, пусть и не ясно, по отношению к кому. Пусть неясно, ибо нечестность - подобно честности - может быть и безадресной, безотносительной, без. Ибо этого права отнять у нее невозможно. Тем паче, что заниматься такими вещами решительно некому. Как бы то ни было, дабы не огорчать умозрения, о совпадениях следовало заботиться, будто не замечая забот своих, глядя на них сквозь пальцы. Заботиться, но - сомнамбулически, невзначай, заботиться безотчетно. И вместе с тем - вкрадчиво, тайновидно. Причем подобная тактика сочеталась со стратегией быть, но не быть - лучшим образом. Сочеталась и сослагалась. И несколько безотчетно - без - потек ты однажды в Марбург. И прибыл. И у подножья горы, на которой по-прежнему мшели: ратуша, замок, университет - заломил в подражание Ломоносову и учителю голову. Заломил и тем самым отпраздновал два юбилея - в кавычках: чужих шейных мышц. Речь кстати и честно, сей жест в описании лирика показался чрезмерным. Он будто бы спутал марбургские крутизны с крутизнами Зурбагана. Сугубости свойственны странникам. Из аналогий достаточно вспомнить какую-нибудь гиперболу Миллера Генри, порнографа. Например, по его словам, пролив между Поросом и Галатами столь неширок, а дома на набережных стоят столь близко к воде, что носы любопытствующих домоседов едва не касаются рей проходящего судна. Но будет о Греции: вива Гессен. Восклик. Мысля сомнамбуличе

ски, идеально, в Марбурге следовало отыскать того кельнера, что накануне переоценки всех ценностей дружен был со всеми философами. И когда в разгар испытаний к поэту пожаловал младший брат, ловко спас положение, привадив последнего к выпивке и бильярду. Однако выяснилось, что, уйдя на Первую мировую, кельнер не возвратился ни с Первой, ни со Второй. А впрочем, в университетской таверне по-прежнему упражнялся брат, но только уже не поэтов, а кельнеров, и не младший, а старший. И тем старше он выглядел, чем более пил, и поэтому к вечеру, когда ты зашел туда поболтать на обрывках наречий, сем лаконическом эсперанто невежд, брат кельнера, тоже кельнер, смотрелся Мафусаилом и

живо помнил кого изволите. Ломоносова так Ломоносова, Лютера - так его: заслуженный был завсегдатай; случалось, заговорится с нечистым за полночь - не прогонишь; только потом его, кажется, застрелили, Мартина этого, - за морями. А Гриммы - чего с них возьмешь: братья как братья, как мы, как все, что тот брат, что этот. Брат кельнера помнил и русского лирика, правда, столь смутно, что стало пора по домам. И хотя не через Венецию - через Вену с ее склеротической ностальгией в желтых гамашах и розовых рединготах - отправился ты в пределы, где тебя помнили если не лица - так улицы, не филармония - так гармоника, не газоны - так горизонт, не обстоятельства - так пространства. Пространства, где вас ожидала известность - цитата - которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Цитату пресечь. Невольной украдкой - украдкой свидетеля по делам изумленья сограждан - ты возвратился в ваш общий город и жил в нем почти безотчетно - по образу усыпительной жизни в разливе. И, следуя по стопам поэта, почти невзначай, стал студент, зачастил в те же самые аудитории знаний и коридоры чувств. И заездил в концертные залы, в музеи, еще - на катки. И, в сущности, вовсе не нарочито спонтанно - пил горечь сентябрьского неба и тубероз, клейковину слякоти, кровоподтеки зорь, синей - нет, лучше - лиловой каплей вис на пере у Творца, а в качестве пассажира пик вис на поручнях транспортных средств, постигая всю прелесть пролетов, зубря расписания поездов или графики их движенья по различным веткам, Камышинской в том числе. И следил за движением гроз, низложением любовался зим и влюблялся. Любил приблизительно тех же - во всяком случае с точки зрения близорукости - по крайности точно с такими же именами - женщин. И будто бы невзначай - бездумно - стелил им на траву плащ. А они - точно так же - бездумно - сомнамбулически, будто б как осень - лист, все роняли наряды. И ты загорался и гаснул, горел и мыслил стихами. И все это ненароком и безотчетно, без. И что было нужды, что в замшевой консерватории замшелые скрипки карябали слух не волшебней скребок; что, кипя приобщиться к Шуберту, ты по рассеянности прикипел к оперетте и, грешным делом, увлекся другим, правда, тоже ведь австровенгром, и то и знай напевал его искромлетное: Сильва, давай блинов с огня. А что было нужды, что симпатии однокашников распределялись не между Бергсоном, Шпете и Трубецким, а между тремя столовыми: у Никитских, против дома Румянцева и той, что в подвале исторического факультета, называемом обыкновенно трубой, а напоминающем морг. И не стоило горевать, что в которую и в какой прострации ни взойди - серебро приборов в засаленности своей глядело каким-то немилосердным оловом: тускло, в самую душу; образование продолжалось. Аналогичным взглядом взглянуть из окна Зоологической аудитории. Дать очерк погодных кондиций. Шаржировать профессуру. Представить декамерон общежития в натуральный размах. И не так уж и важно, нисколько не страшно, что встреченный на катке матрос - клеши-ленточки, эники-беники, пили-на-брудершафт - вышел, в общем-то, не таким, как следовало по мастеру, ибо не было в нем самом ни черта романтического, ни единой звездной черты чистосердечная низость, цинизм, дно. И то не морское: ибо служил не на флоте и даже не на флотилии, а являлся матросом-спасателем, тут, на дачном пруду, был вылавливатель утопленников, ловец русалок, блюстител, мол, вод стоячих и сточных, алкоголический человек причала. Но все это летом, а зимами просто так, не у дел, пьян - и баста, принял - и на коньки. Наконец, не имело значения, что матрос вышел и вправду маленький, как из считалки. Он походил на сюрреалиста Ива Танги с дагеротипии двадцать парижского года: мятежный гений в детской матроске, мудреный карлик, но не с большой, а с пугающе небольшой головой. Итого: не имело - не стоило - не было нужды - и ничего - и неважно. Так как, откликнувшись и поддавшись, нельзя то и дело оглядываться на отдельные нелады, недочеты, заикливаться на них. Потому что бессмысленно. Так как ежели требуется достичь вдохновения, то бишь горения в полную силу, то надобно делать это не обвиняясь, не плача по мелочам и не пробуя обмануть Фортуну. Во-первых, не выйдет. А во-вторых, сплошное везенье - удача, идущая косяком, без помарок, едва ли не мерзопакостна. Не напрасно учитель настаивал, что успех - не цель. Цель скорее утрата, отдача, возможно, даже падение, низвержение в грязь. Блаженен, кто пил до дна чашу дней

своих черных и бед. Пил и радовался. Тем паче что в целом-то обстоятельства складывались вполне терпимо. И достигая - Бог ведал, какой ценой, - неординарности ощущений, порывов, снов, а попутно и вдохновенья, ты постепенно входил в заветную роль, а войдя, начал в ней быть, пребывать, стал, насколько умел судить, поэтом. Хотя, насколько великим - судить не умел, точно так же как был совершенно не в состоянии различить, где победа, а где неуспех. И думалось: что это: трепетность - робость - сорт аберрации курослеп души. Знак вопроса. А может, то самое: самое драгоценное свойство ее, без которого поэт умирает и предается прозе, а вундеркинд моментально тупеет. Иными словами: не озаренность ли это. Знак, напоминающий крюк. Однако и это неясно. Но что бы то ни было, образ жизни, достойный ученика такого учителя, был заведен и велся. Он в принципе вышеописан. Штрихами. Осталось лишь подчеркнуть, что его отличала сугубая, особая патетичность поступков и жестов, увеселений и творческих планов, разлук и встреч. И личная окрыленность. И замыкая сюжетный круг, нужно вспомнить, что внутреннее озарение, положившее ей предел, постигло тебя в результате одной из. Продолжи: одной из встреч. Конкретней: встреч с кругом прилежных и записных. Срочно требуется признание. Чистосердечно: встреч с кругом, к которому ты украдкой, келейно, прячась от взоров Музы и собственных устыжаясь фраз - почему-то - наверное, в силу слабости - принадлежал. Прискорбно: ты был сотрудником борзописцев. И то и дело - нет, нет, свеча ни при чем - деловые встречи происходили средь бела дня - то и дело перо поэта - образно речь - обмакивалось в общие с ними чернила, а галстуки - в общие щи. А сходки во имя безделья случались по вечерам. Кто знает, не оттого ли они называются вечеринками, раздумывал ты, когда течение сей основательной мысли прервано было какими-то криками. Ты прислушался. Шел спор о времени, напоминавший бой. И тогда, сознавая, что все это уж с тобою случалось, ты принял участие. И времени противопоставил искусство и вечность и, в частности, вечность искусства, оставив в резерве искусство вечности и другие божественные ремесла. Успешно развив основные фигуры речи, ты вскорости ощутил недостаток цитат и в поисках таковых ретировался в библиотечные сумерки: лампы пере-, а свечи вы-, объяснил служитель. Не страшно, ему отвечал ты. И обратившись к учителю, озарился весь скромностью строк его, строк и строф, не осознанной прежде. Ты озарился внезапно, спонтанно, почти что не отдавая себе отчета в том, что восточнее Чечжудо подобное состояние называют сато-ри, ударенье на а, а фонарщики Фландрии шутят: фонарщику: фонарей. И читал. И читая, определил, что погиб, ибо случилось нижеизложенное. Играл заветную роль, роль самого озаренного, ты играл ее беззаветно, без, всеми бликами. Не брани же себя, между прочим, за это арго, дай волю голубке, горлице речи твоей картавой. Воркуй. Восклик. Ты играл, говорит, всеми гранями, до зари, фонаря на полное сатори. Было ярко, но, к сожалению, ты заигрался, офонарел, впал в путаницу. Ты озарился вплоть до того, что перестал отличать не только победу от поражения, но и себя от учителя, а участь его - от своей. И не различал биографий ваших. Ты преступил запретную грань. И вместо того, чтобы быть им, оставаясь собой, быть не будучи, следовать за ним, но собственной дорогой, - пробовал быть им единственно. Ты забыл о себе, о своем, и спустя невозвратную сумму зим обернулся кем-то безличным - напрасным никем - и за вычетом кошек да лис никому не понятным. Ведь: было бы что понимать: ведь случилось и нечто худшее, самого кульминационного толка. Мало того, что ты оказался путаником и перепутал все перечисленное; ты оказался к тому же забывчив. Ты помнишь Знак в форме крюка. Поэзия самого озаренного лирика вдохновляла тебя регулярно, однако твое вдохновение не находило выхода, не достигало итога. Оно все бродило в тебе в чистом виде, в виде неких абстракций: разрозненных ритмов и звуков, идей и просодии, но переложить их на язык языка - все как-то недоставало времени. Ибо ведь если время непрезентабельно, фельетонно, ничтожно, его как бы нет. Или есть, но ничтожно мало. И никакое там нетерпенье беде не поможет, гори не гори. Но было известно, что близится время другое, и в ожидании его ты строчил фельетоны, ел щи и копил в голове вдохновенные заготовки, планируя переложить их, как только. Но все твои упования и озаренья пошли вдруг прахом. Озарясь в полумгле библиотеки ясным сатори, ты увидел, что перекладывать

чуть ли не нечего, потому что почти что все заготовки выветрились из памяти вон, а те, что каким-то образом в ней сохранились, - ни изложению, ни переложению не подлежат, так как излишне абстрактны. Недаром птица-библиотекарь, которое тысячелетие дремавшая в соседнем вольере, прокаркала раздраженно: какие абстрактные заготовки. Ибо она была вещей и видела сон о твоём озаренье. Тем лучше. Типичная кульминация. И - опять же - прием повтора: немало смятен и, пытаясь хоть несколько объясниться, верней, уяснить себе суть случившегося, ты изнуряешь язык твой словами уныния. Перебираешь их гроздь. Снаряжаешь рой. Ты молвишь: напрасен - никчемн - нечаян. Ты шепчешь: ненужен - негоден - невзыскан. И добавляешь: ненадобен - не востребован - непотребен. И дабы немного украсить этот невзрачный ряд, приплюсовываешь французистое: мизерабелен. Говоря фигурально, как и положено на театре, - кавычки открыть, - Гул затих. Я вышел на подмости, - закрыть. Хотелось творческой паузы. Желалось милого забытья, милосердия. Как дышал ты вечер в ухо Участи, теребя ее на предмет приязни, так ныне дышит тебе в лицо свидетель крушения: зритель. Он дышит как стая. Как свора. Он черств и категоричен. Он мудр категориями буфета, семейного очага, конституций и примерно с такой же энергией, как поэт экстаза добивался свидания с неким графом, - дескать, пустите, пустите, мне надо его повидать, - зритель требует твоего финального монолога. Произнеси же его, оправдайся, найди себе в нем утешенье. Скажи о том, что если весь век сей пронизан эмоциями твоего кумира, то это не значит, что жизнь каково б ни случилось ее отношение к искусствам - сестра лишь ему, поэту; нет, нет, образ близкий, ближайший, она сестра и тебе. И несколько не обязательно что-то творить, сочинять; достаточно просто жить и свидетельствовать, как сочиняет кто-то другой. Жить и быть его вдохновенным ценителем. Жить и знать, что у вас бездна общего, в частности, вечность и речь. И разве в этом одном нет известного рода величия. Хоть небольшого. И разве, играя в озаренного лирика, ты не вырос в ту самую - в ту, мечтаемую, - сотню раз. И не твоя ли душа озарениями его озарена стала. Твоя. И встав, ты выходишь из библиотечной тьмы на свет коридора и лестниц. Лестниц и улиц. И делается превосходно видно, что ты один, и что все вокруг утопает в сплошном фарисействе, и вытерпеть бытие - несмотря на его неказистость, - не поле, мол, перейти. И хотя, пролистав поэтовы книги, ты изрядно пополнил запас цитат, становится почему-то ясно: как тот сокамерник не пришел докурить чинарь, так - хотя по иной причине - ты уже не вернешься в круг борзописцев. Так. Ни в чуждые их пиры, ни в акакиевские кабинеты. Наверное, это становится ясно по жестам. Так. Ведь именно в них трепетала известная безвозвратность. Не так ли. Особенно в тех, каковыми ты на ходу развязал себе галстук. Так: в значении никогда. Развязка. Знак озаренья.

КОНСПЕКТ

Выступление по поводу вручения

Пушкинской премии

Речь, сказанная 26 мая 1996 года

Когда меня спрашивают, отчего я все не пишу для театра, я возражаю в том смысле, что рад бы, но Мельпомена со мной не улыбочива, холодна, и что я драматург лишь постольку, поскольку улавливаю подчас - как бы это отчетливее - да вы не тушуйтесь, бодритесь, советую, кстати, увлечься подвижным образом жизни, движеньем, а главное: не берите в голову, полагайте, что это особый тип абсолютного слуха - улавливаю чьи-то беседы, беседующие, в сущности, голоса, и по их мотивам, мотивам то есть этих бесед, сочиняю скетчи, страницы в две-три, не больше, причем исключительно для себя, ни о какой постановке их не приходится и говорить, они слишком поверхностны, легковесны, что и понятно, ибо не таковы ли образчики, лишь однажды я уловил разговор, из которого получилась пьеса, хотя бы чего-то, пожалуй, стоящая, если выразиться в манере афиш, это пьеса для определенного числа человеческих голосов, свидетельствующих о судьбе кого-то не слишком уравновешенного, мятущегося, склонного к перемене мест и к побегу в вольнолюбивую лирику, да не цыган ли он, спрашивается, вероятно, отчасти, по крайней

мере, в душе, как, быть может, любой настоящий русский, у коего Соколовская та гитара в ушах как звенела, так и звенит, и ниже: нет, что там ни говорите, а скушно на этом свете нам без хорошей цыганщины, дамы и господ, особенно без романсов, особенно без жестоких, а знаете, между прочим, какой из них дорог вольнолюбивому лирику более, нежели все остальные вкупе, не приложу ума, назовите, романс о печальной участи хризантем, о кусте их, что поначалу расцвел, а после, когда в саду наступила полная осень, отцвел и увял, что увы, то увы, но по какой же причине лирик столь ценит именно эту вещь, дело в том, что она для него род семейной реликвии, музыкальная память о бабушке, та, надо заметить, была записная аристократка духа: читала немецкую философию, британскую энциклопедию, несколько фехтовала, курила, играла на скачках, водила знакомства с модными беллетристами, критиками, поэтами, с пушкинистами наезжала все в Ясную, с футуристами - в Яр, а танцевала, а пела, а что касается внешности, то извольте не беспокоиться, в свой момент она была просто прелестна, вернее, не просто, а словно бы невзначай, и мужчины в нее влюблялись безотлагательно, но - напрасно, ибо взаимностью если и отвечала, то не иначе как мельком, хоть плачь, юная бабушка, кто целовал губы твои бабэоби, когда покинутый тобой гитарист все бродил аллеями городского сада и складывал свою лебединую, если не ошибаюсь, песню, с тем, чтобы спеть ее тебе на прощанье и посвятить, и невольные слезы катились и капали на увядший тот куст хризантем, ах, как жестоко третировала ты не милого более трубадура, но зато какой жестокий романс сочинился в этой связи, мыслит лирик, взрослея, откуда вы знаете, что он мыслит именно так, из его собственных рассуждений ранней поры, как письменных, так и устных, короче сказать, он гордится бабушкой, и бабушкой он гордится другой, той, что тихо жила за сибирскими синими реками и в ожидании мужа сибирские же лепила пельмени, сибирские поливала розы, сибирского поглаживала кота и все выходила к насыпи погадать: едет-не едет, едет-не едет, и дедушкой-машинистом, который был долгожданный тот муж и все ехал и ехал, все вел свои транссибирские скорые, им гордится он тоже, и дедушкой-оружейных-дел-мастером, что все занят был отливанием тульских пуль, из коих одна, вероятно, и разлучила с землей того гитариста, жаль, право, что все так нелепо закончилось, жаль, но вольному воля, и несколько ниже: но будет о родственниках, поговорим о друзьях, сколь дороги ему те, с которыми вместе в юности жить и чувствовать он спешил, столь, что при мысли, как именно все это было, он делается отстранен и мечтателен, и он не забудет их, разумеется, никогда, примите его уверения, и ни за что, и приблизительно то же можно сказать о городе, где все это происходило, и о деревне, где написал он первую настоящую вещь свою и се: стал прозаик, и о реке, на берегу которой стоит та деревня, и о равнине, по которой течет та река: не забудет, однако же никакая привязанность, никакая приязнь, ни даже почтение к дыму отечества - даже оно - вольнолюбия в нем не превыше, и - пауза - почему вы остановились, мне хочется, чтобы вы уловили всю важность происходящего, продолжайте, мы уже уловили - и в некий ненастный день поздней молодости он из отечества уезжает, вообразите, ну, вот и уехал, ибо почувствовал, что пора жить в свободном - нет-нет, падение было бы тут не совсем уместно, оно ведь нередко смотрится не особенно эстетично и зачастую заканчивается вполне плачевно - в свободном пора, брат, пора жить в движенье, в свободном и вечном, великому мельнику из Виннервальда подобно, и колеся по свету, стать героем пространства, ибо какого еще там времени, собственно говоря, а не героем, так просто студентом стать факультета скитаний вечным, и все сочинять, все мыслить, но только не слишком бедным студентом, Господи, если можно, ибо бедность лишает скитания всякой прелести, истинно Тебе говорю, и поступал по задуманному, поступал, пока на путях своих не утомился душой, не соскучился по домашним романсам, по старым приятелям, и в намеренье возвратиться является на вокзал, покупает билет, но, буквально за минуту до отправления, мысль его начинает метаться, он впадает в полную нерешительность: ехать ли, стоит ли, и в этот момент повествование обрывается: голоса почему-то пропали, и поскольку вновь не возникли, постольку пьеса моя не завершена, но ничего, успокаиваю я себя, ничего, когда

Мельпомена мне наконец улыбнется, я сам домыслю судьбу героя, домыслю и доиграю, воображения театр, смотри - да прозреешь, да воспаришь, доиграю и допишу текст пьесы, конспект же дописывать вряд ли стоит, мне кажется, незавершенность тут более к месту, чем завершенность, в надежде, что здесь я не ошибаюсь, осмеливаюсь посвятить эту во многом автобиографическую вещь всем тем, кто, прочтя мои книги, поверили в вашего покорного слугу как в писателя и произвели его в ранг пушкинского лауреата, и тем, кто верили в меня с тех пор, когда я еще ничего не опубликовал и никуда пока не уехал, друзья мои, друзья словесности русской, милостивые государыни и государи, ваше внимание и поддержка мне несказанно дороги, я благодарю вас.